

Борис  
Соколов

# Спасти князя Игоря



А л е т е й я

Борис Соколов  
**Спасти князя Игоря**

«Алетейя»

2023

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Соколов Б. И.**

Спасти князя Игоря / Б. И. Соколов — «Алетейя», 2023

ISBN 978-5-00165-659-3

Новую книгу Бориса Соколова составили рассказы на близкие всем темы отечественной истории. Так, учитель литературы в послевоенной деревенской школе предлагает своим ученикам написать домашнее сочинение на тему «Слово о полку Игореве» и затем находит способ пробудить в них не только интерес к произведению, но и к истории края, где они живут. История – не набор абстрактных идей, история начинается за ближней околицей, где за горизонтом блестит лента вод быстрого Дона и надо только захотеть – «спасти князя Игоря»... В какой мере автору удалось воссоздать картины бытия ушедшего времени – в котором поместились и военное лихолетье, и черты мирного существования на просторах огромной страны – и вдохнуть жизнь в своих персонажей, – обо всём этом судить читателю.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-659-3

© Соколов Б. И., 2023

© Алетейя, 2023

## Содержание

К читателю	6
Спасти князя Игоря	7
Железная птица	19
Агаманша	25
Случай на кордоне	27
Расправа	28
История одного детства	31
Смотр-парад	50
Мешок травы для кормилицы	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# **Борис Иванович Соколов**

## **Спасти князя Игоря**

© Б. И. Соколов, 2023

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023

## К читателю

С кем не бывает?.. Нечаянно вдруг вспомнишь Экклезиаста, однажды сказавшего: «И оглянулся я на плоды трудов своих».

И вот – когда автор, вроде меня, на девятом десятке жизни оглядывается назад, он неизбежно задаётся вопросом: в своём порыве осмыслить и живописать не только с ним самим происходившее – смог ли он ухватить и в достаточной степени показать черты живущего мира и уяснить, чем жива душа человеческая?

Память подсказывает: кое-что удалось ему достичь на этом пути. Самые первые публикации никому не известного автора, случившиеся полсотни лет назад, вызвали интерес и замечательные отзывы. В дальнейшем – так уж случилось – он выглядел одиночкой, не примыкал ни к каким группам или направлениям, не вступал в Союз писателей, то есть был вне так называемого литературного процесса. Всё это не привело к известности, чего, кстати сказать, он вполне мог бы достичь, приложив определённые усилия. Он так и остался таким «свободным художником», то есть человеком со стороны – по сути изгоем, которого случайно «подобрал» однажды глава настоящего издательства, сделав своим постоянным автором.

## Спасти князя Игоря

### 1

Она приснилась мне этой ночью: мы шли рядом по школьному коридору и вокруг не было ни души. Как всегда – недоступная, она не поворачивала ко мне головы, и я видел лишь ее профиль. Мне хотелось поцеловать ее в щеку, но страшно было даже дотронуться до нее, казалось: стоит только сделать это, как произойдет ужасное – меж нами шархнет молния (наподобие той, что показывал на уроке наш учитель по физике).

Во время завтрака мама заглянула мне в глаза.

– Что с тобой? Ты не выспался?

Я пожал плечами и насторожился. С недавних пор странные вещи у нас дома творятся: как только мама начинает ко мне приглядываться да приставать с вопросами – так и жди, обязательно что-нибудь случится.

Я заторопился было уходить, чтоб она еще чего не спросила – тяжело отвечать, когда тебе не хочется – да вспомнил, что в парадной нарвусь на Ленку, соседку-одноклассницу (она-то всегда пораньше выходит, чтобы не опоздать), и раздумал спешить. Стал копаться в портфеле, проверяя, всё ли взял, что надо.

Было куда спокойнее, когда с Ленкой мы были в разных классах. Но в начале этого учебного года она перевелась к нам из 8-го «Б», чтобы вместе учиться, раз уж мы живем в одном подъезде. И всё бы ничего, да эта зануда надоела мне до смерти своей докучливостью. То прибежит – книжку почитать попросит, то, видите ли, мать ее за чем-то к нам послала, а то и домашнее задание записать забыла. А то как же – «забыла»... Сама на каждом уроке учителю в рот смотрит, чтоб не напутать чего, буквы единой записать не пропустит. Да и четверку даже получить – для нее уже чуть ли не целая семейная драма...

– Не нравишься мне ты что-то сегодня... – мама опять за свое. – Может, что стряслось в школе?

Я даже опешил – чего это она? Уж не Ленкины ли это козни?

– Да что ты, мам?.. Всё в порядке, – пробормотал я на ходу и выскочил на лестницу.

И вот вам, пожалуйста: эта плутовка словно за углом ждала, пока я выйду из парадной. Я плюнул с досады себе под ноги, а она – как ни в чем ни бывало:

– Здравствуй... Не опоздаем?

Так и тащила тенью за мной от самого нашего дома. Я останавливался – и она замирала на месте, цапля долгоногая. И уж кричал я на нее и обзывался – она от меня не отставала.

И когда подловили меня трое в глухом углу за трансформаторной будкой – Ленка налетела на них крича, размахивая портфелем, и такой взбесившейся курицей, что мои недруги разбежались от одного шума и ошеломления.

Наверно, мне бы хорошо досталось, и она фактически меня спасла, но я просто возненавидел ее после этого и теперь не мог выносить одного вида ее конопатой физиономии. Чертова проныра, она заранее что ли знала, что меня лупить собирались?

Так и есть: мама моя настоящий пророк – всё сегодня разладилось. У нас появился новый учитель литературы, нестарый, хотя и солидного вида, очкарик. Молодость его мы тем более почувствовали, что заменил он Клавдию Валентиновну, тихую, совсем седую старушку, ушедшую, наконец, на пенсию.

Плохо это было уже хотя бы потому, что на уроках литературы мы привыкли вести себя вольно, даже книжки почитывали. Прежняя учительница неважно слышала, да и вообще при ней мы отдыхали: она больше нам рассказывала или читала, чем спрашивала. И никогда двоек не ставила. Даже Витька Логинов всегда получал тройку – оценку, которую вряд ли заслуживал. Наверно, он никогда не учил уроков. Имена и даты, события, всякие там идеи – всё это было такой мукой для Витьки, что на уроках литературы он сидел, опустив плечи и обреченно свесив голову. Он безбожно путал авторов и героев и особенно был не в ладах со временем: целые столетия не имели для него никакого значения. Когда Клавдия Валентиновна вызывала его, класс замирал в ожидании очередного веселья.

Низкорослый, широкоплечий Логинов так трудно и долго выдирался из-за парты, как будто на руках и ногах у него были невидимые железные цепи, причинявшие ему боль при каждом движении. Понурий, с поникшей головой, он останавливался у доски, опускал глаза и уже не поднимал их до конца экзекуции – и сам Витька, и весь класс иначе и не воспринимал это представление – до той самой минуты, когда можно было ему, наконец, идти на место.

Учительница жалостливо смотрела на несчастного (совсем не спрашивать его она не могла, потому что надо же было в журнал ставить против его фамилии какую-то оценку) и, подумав, задавала самый простой вопрос. Но Витьке было всё равно, простой вопрос или сложный. У него была своя программа: тихо, едва шевеля губами, он говорил такое, отчего у седой учительницы розовели щеки, а класс визжал, рыдал, от удовольствия топал ногами.

Финал представления был всегда одинаков. Клавдия Валентиновна терпеливо и подробно отвечала на вопрос сама, ставила неизменную тройку и отпускала Логинова. У того на обратном пути вериги становились менее заметны, но вид был еще несчастнее.

Я тоже развлекался вместе со всеми, но к веселью моему подмешивалось удивление, почти зависть. Уж очень всё было похоже на какой-то розыгрыш. В таком духе, как Витька, выступить я не смог бы, кажется, даже нарочно. А уж меня учительница спрашивала редко, этим я был вполне доволен и почивалт на лаврах.

Сказать по правде, учебник по литературе был мне скучен, и я не слишком любил в него заглядывать. То ли дело – просто чтение! И в школьной, и в районной библиотеке всегда можно было найти что-то интересное. Но помимо этого, у нас дома постоянно были книги – так что, когда задавали читать что-нибудь по школьной программе, чаще всего оказывалось, что я это уже давно прочел. С детства были любимыми «Тарас Бульба» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» – они мне были как-то ближе, чем, например, «Повести Белкина» или «Дубровский». И был ряд книг Майн Рида, Фенимора Купера, Марка Твена, которые читались всеми подряд, переходя из рук в руки...

Тем временем новый учитель, делая переключку, знакомился с классом. Называл очередную фамилию и внимательно всматривался в лицо вставшего ученика, то ли изучая, то ли просто стараясь запомнить. Мне показалось, что на мне он почему-то почти не задержался: скользнул взглядом как по пустому месту – это меня даже задело. Неглубоко, правда, а так... лишь царапнуло слегка, потому что голова моя была забита другим. Я испытывал странное удовольствие оттого, что вот она, Оксана Червоненко, сидит впереди меня – стоит только протянуть руку, и я могу до нее дотронуться. Вот сидит так близко, а не знает, что шла рядышком со мной по коридору и что я хотел ее поцеловать...

А за окнами сквозь листву тополей еще ласково просвечивало солнышко, с путей глухо доносился перестук колес проходящих составов, и сладко прыгало сердце от близкого гудка паровоза – протяжно, отчаянно звал он в края другие, неведомые – и потому прекрасные.

Школа стояла возле самой линии, и с нашего этажа видны были рельсы, коричневые спины вагонов. Движение здесь было большое: днем и ночью с обеих сторон – от Поворино или от Лисок – приходили поезда. Одни сразу же следовали дальше, другие маневровыми паровозами отводились на запасные пути – на них в несколько рядов всегда стояли составы.

Я смотрел на завитки и кольца черных волос на затылке Оксаны и боролся с желанием коснуться их. Я ловил каждый поворот ее головы, каждый взмах ресниц, ревниво следовал глазами по пути каждого ее взгляда, завидуя предмету – одушевленному или нет – на который он был направлен.

Сейчас я чувствовал себя почти героем: во время утренней стычки я узнал одного из нападавших, Генку из параллельного класса (он жил в одном доме с Оксаной), и понял – это была месть. На прошлой неделе я проводил Оксану до дому – классная руководительница попросила меня помочь ей донести стенгазету, которую Оксана оформляла.

Еще утром у меня жгло под левым глазом, теперь кожу саднило, будто ее потеряли наждаком. Я потрогал больное место и обнаружил припухлость, а на руке осталось что-то липкое, но это не была кровь. Я понял – ходить мне *с фонарём*. Но я теперь был даже доволен, за Оксану и десять таких получить не жалко. А с Генкой, надо будет, мы еще посчитаемся.

Я скопил глаза на соседа, Пашку Воронского, тот, опустив голову, почитывал себе Конан Дойля (многие из нас им увлекались, порой где надо и не надо появлялись нарисованные кем-то *пляшущие человечки*). А мне, например, больше нравились такие книги как «Айвенго» Скотта или «Крестоносцы» Сенкевича. У Конан Дойля – здорово, ничего не скажешь, но много придумано, а в этих книгах, казалось мне, описано всё, как было на самом деле. Сегодня я тоже прихватил из дому книжку – «Захара Беркута» Ивана Франко, но теперь мне было не до нее.

На всякий случай прикрывшись рукой от Пашки, я принялся сочинять на отдельном листочке послание Оксане. Чтобы не быть узнанным, писал с наклоном в левую сторону.

«Высокочтимая леди! Сегодня, когда вечерние сумерки опустятся на тихую окраину, за переездом возле водокачки Вас будет ждать человек, который... – тут рука моя дрогнула, я на миг остановился, но всё же заставил себя продолжить, – любит Вас сильнее жизни. Если Вы...».

Оксана встала из-за парты – учитель вызвал ее к доске, это было очень кстати: надо скорее дописать и незаметно сунуть записку в лежавший на парте ее дневник. Я нарисовал несколько пляшущих человечков, которые предупреждали о моей ужасной и безвременной гибели в том случае, если она не придет на свидание. Я так увлекся, что потерял бдительность. Пашка, оказывается, углядел, что я от него таюсь, и ловко, как обезьяна, выхватил из моей руки уже сложенную записку. Я кинулся на него – громко стукнула крышка парты.

В тот момент Митрофан Николаевич прохаживался возле доски, заложив руки за спину. Он повернулся на стук, но мы уже сидели как паиньки.

Пашке я показал кулак под партой. Видно, по лицу моему он понял, что прочитать записку ему не удастся, – и... тихонько так, с вредной своей улыбочкой выкинул ее прямо на середину прохода. У меня аж дух захватило. Оторопев, я промедлил мгновение и был наказан. Совсем я забыл, что позади, через проход, с самого краю сидит Ленка! Она, подлая, всё выследила и, как кошка – неслышно, на цыпочках – шагнула и цапнула листочек.

И тут я не выдержал. Буря взорвалась в моей душе – в голову ударило внезапным жаром. Митрофан Николаевич повернулся как раз в ту секунду, когда я сцепился с Ленкой. Учитель так нас и увидел: меня в проходе с оборванной лямкой Ленкиного передника в руке и ее, съёжившуюся за партой со сжатыми кулаками у груди и едва не плачущую. Передо мной всё было как в тумане, но лицо учителя выглядело до странности отчетливо, я видел даже, что у него побелел кончик носа.

– Да как... как смеешь ты!?!..

Я стоял как в бреду – всё пропало! Вот сейчас прочтут...

– А ну-ка, давай – иди сюда.

Когда я подошел к учительскому столу, Митрофан Николаевич хмуро поглядел на мое лицо с подбитым глазом, потом вытянул руку в сторону и сказал негромко:

– А теперь – в угол!

И я всё выполнил! Бессознательно, как механическая кукла, как в дурном сне: послушно прошел мимо Оксаны – она была теперь как изваяние, я почти не видел ее и чувствовал лишь, что всё гибнет, всё рушится – и остановился возле угла, у окна.

И только тут до меня дошел весь ужас случившегося: как мальчишка, я сам, добровольно, оказался... в углу – какой позор! Ослушаться теперь и уйти – было поздно, *я уже дал себя поставить...* До меня доносились перешептывания, злорадное хихиканье девчонок – в глазах моих мерк свет и закипали слезы.

И вдруг наступила тишина, в которой явственно прозвучали всхлипы:

– Митрофан Николаевич, это не он... это я. Это я... виновата. Это меня надо...

Это была Ленка. Она стояла у своей парты и плакала, ей было стыдно. И ей было страшно – отличнице, примерной ученице – самой просить наказания.

Учитель нахмурился.

– Ах вот как...

Мизинцем правой руки он глубже надвинул очки на переносье и покрутил шеей, как будто ему был тесен галстук.

– Ну-ну... Всем сесть на свои места и успокоиться.

С какой-то тяжелой задумчивостью он проводил меня взглядом и какое-то время молча стоял у окна.

Я растерянно прошел к своей парте, боясь встретиться взглядом с Оксаной, зато на предателя Пашку уж посмотрел как следует. А Ленка сама отдала мне злосчастную записку, смятую в теплый, влажный комок и – чего уж я не ждал от нее – она даже развернуть ее теперь не пожелала.

– Вот что, ребята... – голос учителя был ровным, без тени насмешки. – Рад был, как говорят, познакомиться. Надеюсь, что после окончания урока между вами наступит мир. Я бы согласился стать посредником на переговорах, да боюсь, что не будет мне оказано полного доверия. А напрасно – я ведь и сам не так уж давно был таким же, как вы... Может, чего и посоветовал бы.

(Как мы после узнали, всё так и было: учитель и в самом деле прибыл к нам прямо со студенческой скамьи – в этом году он окончил Воронежский университет.)

Митрофан Николаевич помолчал, в раздумье побарабанил пальцами по столу и закатил нам настоящую речь, предварив ее такими словами:

– Для начала мне хотелось бы знать, что вы можете, чем вы дышите, и для этого я даю вам всем домашнее задание: написать сочинение, избрав для него в качестве темы «Слово о полку Игореве»...

Словно порыв ветра, по классу прошел ропот – что-то вроде единодушного вздоха разочарования. Что можно написать на малопонятную да и скучную тему?

Учитель усмехнулся.

– Да вы не торопитесь с выводами... Древняя повесть эта – не только дошедшее с тех времен до нас художественное слово, не только литература. Это, если хотите, – история, за которой и ходить далеко не надо. Подумайте о том, где сами-то вы живете. Дон от нас – рукой подать. Ведь это сюда, к нему, шел князь Игорь, чтоб шлемом зачерпнуть Донской водицы. А за двести с лишним лет до него через наши края ходил в поход на хазар еще Святослав, князь Киевский. Вдумайтесь в названия речек нашего края... Такие, например, как Тойда, Еманча, Курлак, Карачан – они дошли до нас не только от татар, но и от половцев. Возможно, уже Святославу попадались какие-то из здешних названий, по которым он определял свой путь. По сути дела, речки эти с их тюркскими именами – живые свидетели истории, имеющей своих героев. Вот мы, далеко оторвавшиеся от того времени, нередко представляем себе их, как некие бесплотные тени... А они ведь когда-то жили, как мы с вами. Радовались и печалились, смеялись и плакали, любили друзей, ненавидели врагов, бились с ними насмерть за свою землю.

Как и мы с вами, они грелись на солнце, купались в реках летом и одевались в теплые одежды зимой... В «Слове...» затронуты немало имен и событий. Перечитайте повесть не торопясь. Попробуйте увидеть всё своими глазами и напишите, как вы чувствуете и как вы можете...

До самого конца урока учитель больше не взглянул в мою сторону ни разу – это я точно заметил. И подумал: плохи мои дела, теперь уж он мне покажет, где раки зимуют.

## 2

Дома я бросился читать «Слово о полку Игореве». Больше всего новый учитель удивил меня тем, что среди других речек назвал и ту, возле которой я родился. Читал я теперь совсем по-другому: при первом упоминании Дона я повнимательнее стал рассматривать карту, висевшую над моей кроватью. Всю нашу область с севера на юг, завора-чивая к востоку, пересекал Дон, а к нему сбегались притоки. И многие из них на восточной стороне имели названия, привычные с детства – и они не были русскими! *Чигла, Ка-рачан..* Я повторял их теперь так, будто услышал впервые. Князь Игорь подходил с запада, из-за Дона. Половцы – навстречу ему отсюда, с востока. Получалась, что здесь, где мы живем, была в то время степь половецкая – *Дикое поле, степь неизвестная?*

Я вдруг подумал: как же всё это было? Как происходила битва? Непростое ведь это дело – в течение долгих часов махать тяжелым мечом. Когда приезжал к нам дед Иван, отец мамы, – я помогал ему ремонтировать сарай: пытался тесать кусок бревна. И довольно скоро рука моя повисла как плеть от усталости. Но мне-то что за печаль? Утомился – присел отдохнуть, потом работай себе дальше. А во время битвы? Там уж отдыхать не дадут...

Я прикинул: едут дружинники в седлах много дней, а после – сеча. Это ж сколько часов верхом на коне, пока не выбьют из седла и не грянешься оземь? Я нашел нужное место в «Слове...»

*С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копыта булатные в поле неизвестном, среди земли Половецкой. Черна земля под копытами копейки была засеяна и кровью полита...*

И пусть даже не с утра до вечера – как в летописи... Но в течение многих часов бились воины, это уж точно. Я представил себе картину жестокой битвы: окруженные половцами, не зная отдыха, русские бились насмерть. Лишь замертво рухнув с коня, они успокаивались навеки. Полег ковыль, вытоптаный сотнями копыт, обнажилась голая, обезображенная земля, над степью тяжелой, мутной тучей клубилась пыль, закрывая всадников, забывая глотки людей и животных; стоял звон железа, слышались крики живых и стоны умирающих воинов, глухой топот, ржание и храп коней – медленно одолевала, брала верх несметная рать половецкая...

Тут со мной что-то случилось: я сел за стол и, не вставая, единым духом исписал целую школьную тетрадку. А воротясь к началу, стал читать... и что-то мне не понравилось. Тогда я принялся вырывать страницы и заменять их новыми – и скоро тетрадь превратилась в пачку измятых, перечерканных, кое-как собранных листов. Переписывал я уже на следующий день, и на это тоже пришлось потратить чуть ли не целый вечер. Зато теперь я остался доволен.

Работы наши были собраны и несколько дней прошло в ожидании. И вот, наконец, наступил день, когда вместе со всеми и мне предстояло узнать, что скажет новый учитель.

И тут такое стряслось!

Началось-то вроде всё обыкновенно, как всегда. Митрофан Николаевич пододвинул к себе стопку наших тетрадей.

– Что ж, приступим... Должен сказать, что в общем я доволен, большинство из вас правильно поняли мое задание и постарались как следует. Но одно сочинение достойно отдельного разговора...

Учитель взял верхнюю тетрадку и назвал мою фамилию.

Сердце мое отчаянно толкнулось в ребра – хотя внутренне я был готов и, кажется, ждал чего-то подобного, теперь я просто испугался. Я как-то сразу догадался: он понятия не имеет, что фамилия эта – моя. А если б знал об этом, вряд ли стал бы начинать с меня.

– Итак, я хотел бы видеть автора... Новожилов!

Меня словно придавило к парте – я никак не мог встать и готов был провалиться, исчезнуть, лишь бы не было того, что должно было случиться в эту минуту.

Митрофан Николаевич начал терять терпение.

– Его что, сегодня нет в классе?

Ко мне со всех сторон уже начали поворачиваться головы, и, совершив над собой усилие, я поднялся... Наступила какая-то жуткая тишина, стало слышно нудное зудение мухи, бившейся в стекло окна. Я поднял глаза от парты и увидел, что лицо учителя как-то даже осунулось и, увеличенные стеклами очков глаза сделались круглыми.

– Ты?! – учитель вздохнул всей грудью. – Это написал ты?!

От обиды кровь бросилась мне в голову.

– Ну я...

– Так.

Учитель уронил тетрадку на стол, будто она обожгла ему руки, достал носовой платок, снял очки и стал протирать стекла.

– Ты садись, садись... – с хрипотцой сказал он. – Совсем неплохо написано, да... Но поговорить об этом придется позже.

Следом он назвал Логинова, как-то странно посмотрел на него (уж Витька, наверно, неслабо там понаписал!) и пригласил к доске.

Как несчастный добирался к месту своей новой казни, описанию не поддается, но теперь не раздалось ни одного смешка – все напряженно ждали, что будет. Обрадовавшись тому, что меня оставили в покое, я следил за тем, как тащится Витька, и думать не думал, что как раз теперь капризная судьба захотела перевязать наши жизни крепким узлом.

На первый вопрос, внимательно ли он прочитал поэму, Логинов ответил в обычном своем духе: мол, о ней мало написано.

Митрофан Николаевич удивленно взглянул на него – уж не прикидывается ли? – и спросил, читает ли он вообще какие-нибудь книги, кроме учебника.

Витька кивнул.

– Например?

– Приключения...

– А конкретнее?

– Ну... «Остров сокровищ».

– У всякой книги есть автор. Написал-то ее Стивенсон, не так ли?

Витька кивнул.

– А еще?

– «Робинзон Крузо».

– Автор?

Витька потер пальцами потный лоб.

– Ну, это... Миклуха – Маклай...

В классе обвалом грянул хохот. Черт возьми, такое невозможно выдумать, но всё же кто-нибудь, услышавший Витьку в первый раз, мог бы решить, что он превосходный шутник, если бы не его разнесчастный вид. Я хохотал до слез – сегодня Логинов превзошел самого себя.

Учитель несколько секунд онемело смотрел на Витьку, потом выскочил из-за стола, торпедой пронесся к окну и обратно, а после вдруг завернул в наш проход и замер против нашей с Пашкой парты... возле меня.

– А тебе, значит, очень весело... – он буравил меня сердитым взглядом, который всё более принимал оттенок насмешливый. – Ты, кажется, с литературой в хороших отношениях...

Я поднялся, неопределенно пожал плечами.

– И ты считаешь, что надо над этим смеяться? – он ткнул пальцем в понурившегося Витьку.

Я молчал.

– Ну вот что. Разговор о твоём сочинении пока отменяется. Больше того, с сего дня ты берешь над Логиновым шефство. Тебя на уроках я спрашивать не буду – отвечать будет он. За вас двоих. И оценки буду выставять вам обоим. Одинаковые. Получит твой подо-печный двойку – она твоя будет тоже. И так до тех пор, пока вы не добьетесь первого хорошего результата.

Класс замер в восхищении – такого у нас отродясь не бывало. Я как-то так почувствовал, что всё это, как в классической борьбе, – запрещенный прием, и попытался возразить:

– Но...

– Никаких но. Я всё сказал. – Учитель направился к своему столу. – Нравится вам всем это или нет – дело ваше, но я решений своих не отменяю...

### 3

В воскресный день я шел вдоль домов, держа в кулаке бумажку с Витькиным адресом. То, что он приезжий – было для меня новостью, почему-то трудно мне было представить, как это Витька живет один, на чужой квартире.

Я долго искал этот участок поселка, расположенный так далеко от самой станции, что сюда почти не доносился шум поездов. Тишина сонной мухой дремала в серой пыли окраинной улочки, за которой на многие километры, до самого Дона, лежала вдоль и поперек пересеченная лесополосами степь.

От крайних домов слышалась музыка, и, когда я поравнялся с давно некрашеным, немного скособоченным домом, стало ясно, что как раз оттуда, затейливо переливаясь, свободно текла какая-то незнакомая, грустная мелодия. На доме оказался нужный мне номер, я толкнул калитку и попал в небольшой и пустынный двор: всего лишь одно дерево стояло в углу его, да несколько кустиков притулилось к глухому забору. Почти вся земля здесь была отведена под огород, с одного краю она была покрыта неглубокими ямками – видно, не так давно выкапывали картошку. И над осенним запустением уже явственней витала музыка – наверно, внутри играло радио. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь.

Мелодия почему-то тут же оборвалась, и через некоторое время дверь мне открыл сам Витька. Слегка ступившись, он провел меня в небольшую, светлую комнату. Железная кровать, тумбочка возле да небольшой стол с деревянной табуреткой. Пока Витька копошился, доставая что нужно для занятий, я смотрел в окошко на унылый кусок перекопанного огорода и серую стену соседского сарая, примыкавшую к забору. Без исчезнувшей мелодии вид из окна и вовсе был убогим. И я чуть было не спросил, куда девалась музыка.

– А что, хозяин-то дома?

– Не... Тут хозяйина нету. Хозяйка одна живет, теперь к сестре пошла.

– Так ты один, что ли?

– Ну.

– А радио?

Витька вытаращился, удивленный.

– Чево?

– Радио-то кто выключил?

– Та не... радиа у бабки нету.

Теперь уж моя настала очередь пялиться на Витьку.

– Так я ж еще на улице... слышал музыку!

– А-а... – Витька облегченно вздохнул и махнул рукой. – Так то я играл...

– Ты? Ну да!

– Ну я... Кто ж еще?

Я ушам своим не верил.

– Да на чем же это?

Витька вытащил из-за тумбочки старенькую гармошку.

– Ну, вот...

– А ну-ка сыграй!

– Чо сыграть?

– А что со двора я слышал.

И те же звуки, только здесь же, рядом, усиленные, волшебным образом полились из-под его пальцев. Я был поражен: казалось Витькины руки не имеют никакого отношения к своему хозяину, склонившему голову и поглядывающему в окно, а живут сами по себе, своей независимой, вольной жизнью. Зачарованный, я глядел, как пальцы его свободно перебегают по пуговкам и кнопкам, и теперь уже не верил и своим глазам.

Когда он остановился, я попросил поиграть еще. И он, как заправский гармонист, стал наигрывать разные вещи, одну за другой:

здесь были известные танго и вальсы и еще какие-то незнакомые мне мелодии. А потом Витька, незаметно для себя, начал напевать, негромко, но так, что я и вовсе оторопел – никто из нас никогда не слышал, чтобы он умел петь. Особенно хорошо он спел «Темную ночь», «Землянку» и «Снова замерло всё до рассвета». Мы позабыли о времени, он пел и играл, играл и пел, как вдруг... Я аж вздрогнул – уж эту песню я сам знал наизусть: когда-то, тайком от воспитателей, пацаны распевали ее в пионерском лагере. И я принялся подпевать Витьке:

*В Кейптаунском порту,  
качаясь на шварту,  
«Жанетта» поправляла такелаж...*

А перед глазами вставало: огромный парусник покачивался на лазурной воде и моряки в синих беретах сходили на утопающий в зелени берег...

*Они идут туда,  
где можно без труда  
добыть себе и женщин, и вина...*

В песне было всё, о чем только может мечтать сердце мальчишки: парусник в тропиках, далекая чужая страна, моряки, отчаянная драка в кабачке, которую мы могли легко, в подробностях, вообразить себе, и, наконец, вино и женщины – непостижимые вещи, с которыми не могло справиться наше воображение и о которых мы могли лишь туманно мечтать – уж этого запретить нам не мог никто. К тому же в песне оживал неведомый прекрасный мир, в котором много чего было по-другому, не по-нашему. Песня ласкала наши сердца – всеми силами души мы торопились в такую заманчивую жизнь взрослых.

*А клеши новые,  
полуметровые  
ласкает бриз... Ха-ха! Ха-ха!*

Мы допели, и я с завистью подумал, что у меня не получается петь так хорошо, как поет Витька.

– А ты где учился-то? В музыкальной школе, да?

Он смутился.

– Та не... Сперва это... у гармониста нашего, а после уж сам... по слуху.

Я молчал в изумлении – такое было просто невоз-можно представить.

– Да то ж нехитро вовсе... Вот попытай...

Витька сунул мне в руки гармошку, и по его указке я принялся старательно нажимать деревянными пальцами пюговки инструмента. Но странное дело! У хозяина она пела так, что не устанешь слушать – в моих же руках шипела, хрипела, а то и взвизгивала, словно подавившись. Раз за разом терпеливо Витька показывал, как правильно растягивать меха, как сподручнее работать пальцами. Когда я уставал, брал у меня гармошку – и комната снова наполнялась волшебными звуками.

Так прошло, наверно, полдня, пока я хватился, что пора и честь знать. И засобирился домой. Но Витька остановил меня, сказал, чтоб я подождал немного. Сходил, принес дров, быстро и споро затопил печь в соседней комнате и поставил варить картошку «в мундире». Пока варилась она, он выставил на стол миску с холодной похлебкой: в подслащенной воде плавали разбухшие продолговатые зерна. До этого мне не приходилось есть ничего похожего. И это было очень вкусно. Работая ложками, мы быстро увидели дно, и я спросил, чего это мы ели.

– Дома мамка моя часто делает. Навроде тюри с ячменем вареным... И хозяйка моя этим кормит.

Добрались до картошки. Обжигаясь, чистили ее – сухую снаружи, с поблескивающей глянцевию кожурой, и распираемую изнутри жаром так, что порой картофелина лопалась в руках... Глотали, почти не жуя, огненные, рассыпчатые, слегка присоленные куски – и от них, и из наших ртов валил пар. Это было просто объедение! За едой я узнал, что сам Витька – из соседней деревни, где есть только начальная школа. А сюда приезжает на постой на время учебы.

Когда я заторопился, наконец восвояси, было уже довольно поздно. И только теперь я вспомнил, зачем приходил...

#### 4

Сегодня мы шли с Витькой к нему домой прямо из школы – я решил не заходить к себе и сказал Ленке, чтоб передала маме. Но решил так не из-за того, что случилось: хоть я и схлопотал свою первую в жизни двойку, очень-то переживать я и не думал. Просто надо было, наконец, начинать наши занятия, о которых мы из-за гармошки просто забыли.

Миновали кирпичное здание вокзала с большими, выделанными в камне, буквами ЮВЖД.

С путей от шпал пахло мазутом, ветром наносило угарную вонь паровозной топки. Мимо нас, набирая темп, уходил со станции пассажирский. В окнах зеленых вагонов частенько видны были военные, уже семь лет прошло с окончания войны, а все еще ехал кто-то, должно быть, возвращаясь домой. Мелькали за стеклами белые занавески, лампы с абажурами – незнакомый и чем-то притягательный мир. Казалось: вот он – совсем рядом. Но он был так же далек от нас, как и вся жизнь взрослых с ее порой непонятными заботами. Мне стало жаль, что не пришлось ездить в таких вагонах.

Не пришлось?

Скрывшийся уже за длинной, изогнутой змеей поезда – оттуда видна была лишь наклоненная ветром кишка дыма – паровоз загудел протяжно, жалобно, словно ему не хотелось покидать станцию. Гудок его, вибрируя, потолкался о водокачку, пристанционные дома и

замер, пропал в пустом небе. И меня вдруг поглотила черная, без огней, военная ночь, вой сирены воздушной тревоги, потом жуткая тишина и еще более жуткий в тишине этой – пронзительный, истошный крик паровоза у станции... Ведь я сидел в таком же вагоне! И глядел из темноты сквозь стекло на большие, висящие на столбе часы, циферблат которых едва заметно светился – то было единственное слабое пятно света во мраке. А рядом сидели взрослые, кто-то из женщин испуганно шептал молитву. Где же всё это было? Теперь уж мне не вспомнить...

Витька шел понурившись – чувствуя себя передо мной виноватым. Я легонько толкнул его локтем в бок:

– О руска земле! Уже за шеломянем еси!

Он кисло улыбнулся.

Весь фокус был в том, что учитель живо напомнил нам обоим, что шутить он вовсе не собирался и ждет результата от наших занятий.

А дело было так. Митрофан Николаевич урок начал прямо с Витьки и, конечно, тут же понял, что всё на том же месте, как было. Учитель спросил у него, занимались ли мы (ха-ха! знал бы он *чем...*) – и тот соврал не моргнув глазом.

– Хорошо, – вздохнул он. – Думаю, нечестно было бы с моей стороны не выполнять условия нашего договора.

И против наших фамилий в журнале появились двойки.

Весь класс, конечно, веселился по поводу таких дел, но мы с Витькой держались. Мы были теперь вроде знающих свое дело заговорщиков. Тяжело было только видеть смеющиеся черные глаза Оксаны. «Ничего, – говорил я себе, – мы еще поглядим, чья возьмет!»

Когда мы добрались до места, я нарочно сел спиной к гармошке, чтоб не было соблазна. А как за дело приняться – я и понятия не имел. Подумав, решил по свежим следам начать со «Слова...» и попросил Витьку прочитать вслух страничку. Он читал, запинаясь, а я иногда поправлял его, заглядывая через плечо. Когда выяснилось, что пересказать прочитанное он толком не может, я подсунил ему в помощь учебник. Домучив отрывок и даже вспотев от усилий, он закрыл книгу, подумал с минуту и начал:

– Половцы – это были враги русские...

И замолк, испугавшись, что я стану смеяться. И опять стал искать чего-то в учебнике.

– Постой, – сказал я, – вот ты когда чего рассказываешь, ты представляешь себе?.. Ну, думаешь о... о том, допустим, что значит каждое слово?

– Не знаю...

– Как это так – не знаешь?

– А рассказываю – и всё. Чего тут думать?..

– Да как же тогда ты книжки читаешь?

Витька просиял лицом.

– Ну-у... Книжки! То другое дело...

– Почему?

– Та интересно же!

– Ну ладно, можно из книжек. А ну, давай, расскажи чего-нибудь. Ты же говорил, что читал «Остров сокровищ»?..

На губах его заиграла хитровая улыбка, и глаза заблестели.

– То ж другое дело.

И без всякого перехода, понизив голос, он забормотал: «Этот доктор – чего он понимает в морях? Бывал я в странах, где жарко, как в кипящей смоле. Там люди так и падали от Желтого Джека, а от землетрясений на суше была качка как на море. И я жил только ромом, да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом...».

Я припомнил: кажется, он сейчас рассказывает о том, как капитан ждет роковую «черную метку». И удивился. До чего гладко – уж не наизусть ли он шпарит? Слегка смущаясь, опустив

глаза, скороговоркой и почти без запинки Витька выкладывал фразу за фразой. Заприметив, я взял с тумбочки совершенно затрепанную книгу Стивенсона, нашел нужное место... и был поражен – он пересказывал текст почти слово в слово!

– Послушай... Ты что же – учил наизусть?

– Та не... Читал много раз, интересно...

– А история князя Игоря, выходит, неинтересна?

Витька кивнул.

Тут к нам заглянула старуха-хозяйка. И не в первый раз уж так: станет в дверях и скажет с улыбкой:

– Всё учитеесь? Вот молодцы...

– Знаешь что? – сказал я Витьке. – У меня есть и другие книги. Пойдем-ка теперь к нам в гости.

У меня дома уже всё знали, и мама Витьку встретила как желанного гостя, отчего тот порозовел да так и сидел с нами за едой красный.

Узнала-то мама обо всей истории, естественно, от Ленки, у которой хватило выдержки всего лишь на один день. До чего ж у девчонок язык накрепко связан с глазами и ушами! Про записку-то она, конечно, умолчала, зато историю, похоже, изложила во всех подробностях. Я сразу заметил, когда это случилось: мама вдруг перестала спрашивать меня о школьных делах. По всему видно было, что родители устроили меж собой этакое *тайное совещание*. Чего они говорили там обо мне – не знаю, но даже синяк мой под глазом поминать перестали. Меня даже смех разобрал и я уж было хотел сказать Ленке спасибо, да во-время спохватился – не дай Бог! Похвали ее только – она такую деятельность разовьет...

После еды мы устроились за моим столом и на этот раз я сам читал Витьке отрывок.

«Широкой рекой разлились по Руси пожары, разрушения и смерть. Страшная монгольская орда из далекой степной Азии налетела... Киев, Канев, Переяслав – пали и были разорены до основания... Бату-хан, прозванный Батыем, шел во главе своей стотысячной орды, гоня перед собою вчетверо больше разных пленников, которые должны были биться за него в первых рядах, – шел по русской земле, широко распуская по ней свои отряды и ступая по колено в крови...»

Я нарочно выбрал «Захара Беркута» – тема была близкой к недавнему уроку – и Витька клюнул на приманку. Он забрал книгу с собой и на завтра принес ее в школу. Я удивился такой скорости.

– Не понравилась, что ли?

– Что ты! Интересно! А можно еще чево-нибудь?

– Да эту-то когда ж ты читал?

– А ночью.

– И хозяйка тебе разрешила жечь свет?

– Та не... Я с фонариком.

Я восхитился – ай да Витька!

– Ладно. Книжку я тебе дам другую, но возьми на заметку, что в тогдашних битвах главными были кони. Ты сам-то верхом ездил?

– А то как же! Был в ночное мы водили коней – ого!

– Ну тогда всё поймешь, тебе легко будет.

После уроков мы завернули ко мне домой, и я, не показав ему названия, раскрыл книгу и нашел то место, которое я сам отметил:

«С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копыта булатные в поле неизвестном...»

– Что за книжка? – не выдержал Витька. – Вроде как что-то знакомое. Дай почитать...

И осекся, когда я показал ему знакомую обложку.

Еще не раз ходил я на эту, уже чем-то понравившуюся мне улочку на окраине. Кроме основной задачи, мы находили время для общения с гармошкой. И, надо сказать, учеником по музыкальной части я оказался малоспособным. Зато занятия наши литературой сдвинулись с мертвой точки, это было заметно уже по живому блеску глаз моего подопечного.

Через неделю мы оба заработали первую четверку – оценку, которая – как мы все успели уже убедиться – у нового учителя была очень даже серьезной, без дураков. Это была победа. А ночью мне приснился удивительный сон.

*По сумеречной степи низко стлался дым костров – степняки к ночи стали лагерем. Я скакал на коне, опасаясь погони. И я знал: при случайной встрече с кочевниками мне не сдобровать – и меч мой, и щит были деревянные. Рядом, не отставая, мчался Логинов, у него совсем не было никакого оружия, но на широком ремне, переброшенном через грудь, подпрыгивала на скаку гармошка. Мы неслись во весь опор – надо было успеть предупредить князя.*

## *Железная птица*

За деревней садилось распалившееся за жаркий день солнце, краем оно задевало распущенные косы ивы за хатой – и узкие листочки тлели на его большой круглой сковороде. Дневная духота ещё висела в неподвижном воздухе, и одинокое «Карр!». пролетевшей вороны было таким скрипучим, будто у неё напрочь пересохло в горле.

Алёшка выбежал из ворот встречать стадо. Отсюда – от середины холма – на левую сторону вниз по склону видно было, как, тесно прилепившись друг к дружке, кривенькой широкой улицей, точно в строю, толпились, выглядывали одна из-за другой хаты, торчали соломенные крыши. И у ворот и калиток виднелись бабы и ребяташки, как по уговору следившие за краем деревни.

Тимоша, соседский пацан, скакал по дороге, волоча за собой палку. Лежалая пыль раздалась под ней, взвиваясь в застоявшийся воздух мутным облачком.

Алёшка тоже вышел на дорогу – и его порепавшиеся, в цыпках, ступни погрузились в слой тёплой, бархатистой пыли. Коже было приятно и нежарко. За целый день пыль вобрала в себя тепло солнца и теперь не спешила отдавать его в начавший уже остывать воздух, мягко обволакивая задубевшие ступни. Он двинулся вдоль по дороге, шаркая, не отрывая от земли подошв – пыль обтекала их с боков двумя серыми ручьями, клубилась, оседала и застывала, оставляя позади две волнистые припорошённые борозды.

Между делом Алёшка подумывал о завтрашнем празднике, который устроят на горе за кладбищем. От Тимоши он узнал, что с утра там будет играть духовой оркестр, а ещё прилетит ироплан – он сказал, что это такая из себя большая железная птица. Ужасно хочется хоть одним глазком глянуть – да нельзя: завтра в заутрене его с отцом ждёт пение в хоре.

Из-под горы уже слышать мычание – разноголосое: густое и тонкое, – бляенье, щёлканье кнута. Там плывёт большое облако пыли – и вот уже видать головы передних коров и как они сворачивают к своим дворам: то одна, то другая – по очереди.

Алёшка нарочно убегает к воротам, прячется. От приблизившегося стада отделяется корова, вся в рыжих пятнах, с крутыми рогами. Ей тяжело нести набрякшее вымя, но она ускоряет шаг, вот-вот побежит, ищет глазами Алёшку и, не найдя, вытянув шею, обиженно и громко мычит. Не устояв, он выскакивает из укрытия – и она, переваливаясь, тяжёлой трусцой устремляется к нему. Он протягивает ей посыпанный солью ломоть чёрного хлеба, она берёт его шершавым языком, жуёт, тычется мокрой мордой в ладони, прося ещё. Алёшка плечом подталкивает её к воротам...

Начинало смеркаться, когда прибежал посыльный – Гришатка, сын старосты, с известием: Алёшку звали на конюшню.

– Никак опять на всю ночь-то, сынок? – озабочась, спросила мать.

– Почём я знаю, маманя... – степенно ответил он, а меж тем душа его пела от радости. Просто так на конюшню не вызовут: видать, надобно ехать куда ни то... а уж, ежели повезёт... глядишь, дадут запрячь Матрёну... ежели нет – на худой конец хоть выпадет повидаться с ней.

Когда в Ольшанке налаживали коммуны и по селу собирали в неё общее тягло, пришлось отдать туда молодую кобылу – с той поры все стали переживать за неё, как за члена семьи, который оказался в чужих людях. Алёшка думал, что он скучает по ней больше всех: она и выросла-то на его глазах – и в ночное, бывало, выводил её только он.

Алёшка подрядился на подмогу к конюху в прошлом годе – как раз когда Матрёну со двора взяли. Придумал эту затею дедушка Аггей, сильно по ней зажалковавший.

– Нехай, нехай ездить... – ворчливо оборвал дед возразившего было отца. – Ты, Лексей, тама скажи, што на своей лошади кучерить жалаишь.

– Была она своя... – горестно вставила мать.

– Замолкни, не перечь почём зря! – цыкнул на невестку дед. – Вон она тама своо не берягуть, нешто чужова им жалко? Кто за неё радеть-то будя? Доглядай за Матрёнкой как след, а на случай чего – не гони шибко, понял? – сказал он Алёшке. – Она ить тама у них – што в плену теперя...

Торопясь, помня наставления деда, Алёшка наскоро выпил молока с хлебом, сунул босые ноги в стоптанные, но ещё крепкие, братнины башмаки и выскочил наружу.

После тёплой хаты разом обдало прохладой – как из сырого погреба. Там, за церковной колокольней, тучи, закрывшие полнеба, отливали густой, почти чёрной, синевой – от одного вида их сделалось зябко. «Гляди, никак на дождь потянуло? А ну – как накроет в дороге?» – с тревогой подумал он, воротился в сенцы, прихватил рогожу и снова выбежал из хаты.

Опустившаяся на двор тишина нарушалась лишь отдельными негромкими звуками. В курятнике куры полусонно вели свою вечернюю переключку или, может, делились переживаниями ушедшего дня. Слышно, как в хлеву размеренно жуёт жвачку корова, да где-то под воротами звонко заливается сверчок. В окружающем мире всё затихало, готовилось ко сну – а тут, видать, в ночь надобно ехать куда-нибудь.

Радость в душе его мешалась со страхом: вон его лежанка-то на печи так и будет пустовать, а он как раз будет на козлах трястись во тьме по степи, где по ночам, бывает, шатаются лихие люди и останавливают подводы.

Войско атамана Антонова окончательно было разбито, в селе снова установилась власть Ревкома. Слышать было, что сам атаман не был пойман, скрывался в лесах, а кое-где оставшиеся его летучие отряды в несколько верховых носились по ночам в степи, днём же – как проваливались сквозь землю.

Алёшка помнил, как прошлым летом наведалься в Ольшанку атаманша Маруська. Людская молва летит по земле скорее самой быстрой тройки, и слух о делах атаманши бежал впереди носившейся по дорогам её разношёрстной шайки. Говорили в народе, что в ближней волости среди бела дня был до смерти зарублен местный председатель комбеда и что расправой командовала сама Маруська.

В тот раз удалось Алёшке подглядеть, как влетела в село лихая тачанка с бубенцами: смелая до отчаянности, Маруська не таилась, любила, чтоб далеко было слышно, как она едет. Неслись кони, бешено крутились колёса... вытянув шеи, выбрасывая вперёд голенастые ноги, с истошным криком бросались врасыпную ополоумевшие от страха куры; отставала, клубами вихрилась сзади пыль навстречу всадникам – её охране. Атаманша – в красных гусарских рейтузах, с маузером на боку, в кубанке набекрень, – небрежно развалилась, полулежала на мягком сидении, держа в крепких зубах длинную заморскую папиросу.

Яростным осенним огнём полыхали её очи – и клонились дóлу головы случившихся поблизости мужиков, молодых и матёрых, упирались глаза их в серую пыль под ногами.

Алёшку словно обдало всего холодным ветром, когда глянули в его сторону жёлтые глаза красавицы – было жутко до озноба, но и сладко отчего-то: то ли оттого, что взгляд её скользнул дальше, то ли – что она глянула и на него, шкета, торчавшего сбоку дороги возле деда Аггея, который один не нагнул головы, не упрятал взгляда и в сердцах плюнул себе под ноги.

– Баба! Подстилка дырявая, прости Господи... Портки с лампасами напялила, побрякушки нацепила, а все уж и напужались. Эх вы, ерои...

Рыжебородый Платон, сосед, метнул глазами в деда, ощерился:

– Ну, уж ты, дед, храбёр... ха-ха... когда она проехала.

– Вóна, дурень... Мне што? О душе подумать надобно, а не в драку лезть. А в твои-то годы, Платоша, я на турка ходил...

Платон покраснел, рукой махнул.

– На турка! – повторил он в досаде. – От удумал, дед. То война, а тут свои почище твоего турка... Ей, Маруське, всё ништо. Дурья кровь в ей ходить, кипить. Ей што жись, што не жись

– едино всё... вожжа под хвост – конец свету белому. Допреж чем самой загинуть, она не одну душу живую сгубит. А нам землю пахать надоть да детишек рбстить...

Теперь та история с атаманшей вспомнилась как что-то ушедшее, которое воротиться уже никак не может. Он сам перед собой гордился, что ему доверяют такое мужское дело. Вот уже которую ночь почти вся деревня, и отец, и старшие братья Алёшки, и даже дед проводят в поле – началась косьба хлеба. А он теперь вместо кучера, он и дома за хозяина, даром что ему двенадцать лет. Что до тех, кто по степи шастает, то втайне он был уверен – они его не тронут, он им ничего не сделал. Да и те, кого он, бывало, возил, не садились к нему по одному и всегда были с наганами.

На конюшне его ждала удача: кроме Матрёны там отдыхал один только старый мерин, на котором возили воду, – а конюх сказал, что надо отвезти в Александровку (до неё было 18 вёрст) ветеринара. Матрёна радостно фыркнула Алёшке в лицо, ткнулась ему в плечо мордой, жадно вдыхая знакомый запах вздрагивающими ноздрями. «Признала... ах ты, рыжая». – пробормотал он, выводя лошадь из стойла. На дворе он подвёл Матрёну к единственному на всю деревню тарантасу, который держали для особых случаев. Лошадь так разволновалась, что слишком резко попятилась в оглобли, налетев на козлы.

– Ну-ну, анчутка! Застоялась, очумела от радости. – Он пошлёпал ладонью по тугой шее кобылы. – Небось с чужим-то не так уж в охотку тащиться куда ни то на ночь глядя... А уж мы с тобой поладим.

Запрыгая, Алёшка задирает голову – небо всё больше затягивалось наползавшей хмарью. Намотав супонь на руку, поднатужась, собрав все силы, стянул концы хомута, закрепил. Кося глазом, Матрена ждала, нетерпеливо переступая копытами.

Наконец тронулись со двора. В тарантасе-то ехать хорошо – куда лучше, чем в телеге: не так трясёт да и скорее. И на козлах восседаешь как настоящий кучер. Важничая на виду повстречавшихся баб, Алёшка прогнал по проулку и лихо подкатил к коровнику. У задней его стены горой темнела туша племенного быка. Ещё недавно он видел этого бугая на выпасе, на него было боязно глядеть – до того он был огромный и свирепый с виду. А теперь вот он лежит мёртвый; рядом, понурившись, стоят оба пастуха, притихшие бабы... Ветеринар напоследок повторил мужикам, чтоб не сомневались – бык пал от сибирской язвы, а с ней шутики плохи: надо всё облить карболкой, а тушу закопать. И бросил Алёшке: «Поехали!». Когда он сел, Алёшка развернулся и выправил на дорогу. Сердце его на секунду обдало холодком страха перед тем, что их ждёт впереди. «Глядь, и впрямь один... И нагана не видать. Дела-а-а... Ну-к встренут?»

Заметно темнело. Хмурая наволочь уже застила полнеба. По-вечернему лениво, с прохладцей, брехали собаки. Проплывали мимо хаты. И почти из каждой лился ещё бледный свет керосиновых ламп, освещая то цветы в палисаднике, то стёжку к воротам, то кусок плетня.

Седок молчал. Человек он был пришлый, городской, жил теперь в Александровке, на постое. Алёшка робел перед ним и словно всей спиной своей чуял его присутствие.

Оставив позади деревню, выехали на гору. Алёшка оглянулся. Внизу среди тёмных пятен деревьев, хат дрожала горстка слабых огней, словно стайка жёлтых бабочек слетелась на ночлег в низину – там в теплых хатах все приготавливаются ко сну. И теперь уж с поля воротились дедушка, отец, братья, чтобы завтра, в воскресенье, побыть дома. Вот, усталые, топают они по крыльцу, входят в сенцы, сбрасывают серые от пота и пыли рубахи, идут в горницу, умываются. Отец, наклонясь над тазом, фыркает, плещет водой в лицо, на грудь, на шею, разделённую тёмной полосой загара и совсем белой кожи. Мать стоит рядом, подаёт и убирает мыло, потом поливает чистой водой из корца... И улыбается довольной улыбкой. Отец берёт у неё полотенце – с рыжей бороды капает на пол вода...

Так-то вот в такой же вечер на прошлой неделе отец спросил, вытираясь:

– Ну, мать, сказывай, как тут без нас Лексей хозяйствовал.

У Алёшки радостно прыгнуло сердце оттого, что отец о нём спрашивает, как о хозяине. Но он тут же отвернулся от отцовского взгляда – он не забыл как весной отец выпорол его супонью. Попало ему за то, что забыл вовремя закрыть крышку над погребом. Туда свалилась свинья, переломала ноги и её пришлось до срока зарезать. Случилось это вовремя поста. А тут ему как раз надо было петь в церкви.

Стоял он тогда в первом ряду хора. Внизу голос батюшки гудел, густой, низкий звук вытекал из его толстых губ, ширился, растекался по церкви – где-то в оконце позванивало стекло. Высокие, звонкие голоса хора возносились с клироса кверху, под своды, и там замирали – тонко, щемяще. Алёшке в тот раз нехватало голоса – он не мог вдохнуть полной грудью, потому что болела спина, и приходилось делать вид, что поёт во всю мочь...

Он опамятовался, огляделся. Наверху небо уже напрочь закрылось тяжёлыми тучами. По левую сторону – там, где село солнце, – ещё держалось желтоватое сияние, а небо над ним уже было тёмным. Справа было непроглядно, мрачно – ни звёздочки, оттуда ползли тучи, дышало холодом. Там раз за разом вспыхивало и погрохатывало глухо, как будто ворчливо. А впереди, над дугой, влажно подмигивала чистая голубая звезда.

– Давай скорей, что ль... Не то гроза накроет. Вишь заходит, – послышался за спиной глуховатый голос.

Алёшка причмокнул губами, дернул вожжи – и Матрёна пустилась рысцой, кивая головой и косясь глазом на правую сторону. Он видел, как она чутко прядёт ушами и как звёздным светом отсвечивает её глаз. Он обернулся на врача. Тот дремал, прислонясь к боковине кузова, свесив покачивающуюся голову. Алёшка заёрзал на козлах и снова передёрнул вожжами.

Проехали мимо кладбища, выехали на большак. Становилось совсем темно. При сполухе в бледном далёком свете из темени на миг выхватывалась дорога, Матрёна и его, Алёшкины, руки, державшие вожжи. После вспышки тьма, проглатывавшая всё вокруг, казалась ещё непрогляднее, и с ней – будто стая невидимых летучих мышей – слетались к нему ребячьи его страхи (словно нечистый невесть чего нашёптывал ему на ухо).

Но вот снова пробегала по облакам нестрашная, без грома, зарница – и даль распаивалась перед глазами: далеко вперёд виден был пустой большак и вместе с ним убежавшие в степь столбы с проводами. От картины этой, особенно от вида столбов, которые поставлены, чтоб соединять людей меж собой, на душе становилось легче. И под мерный, глухой стук копыт по дороге и тархтение колёс Алёшка успокаивался, сам себе усмехался. Мысли его потихоньку поворачивали в завтрашний день к намечавшемуся празднику. Тимоша хвастал, что всем можно будет глядеть на ту железную птицу – и даже её потрогать. Вспомнив об этом, Алёшка снова огорчился оттого, что ему-то вряд ли удастся побывать при этом – тут он даже позабыл понукать лошадь.

Но Матрёна чужая надвигавшуюся грозу и неслась во всю прыть. И ветврач проснулся, кашлял сзади скрипучим голосом. Всё ближе посвёркивали молнии и уже докатывались раскаты грома.

Показались редкие огни Александровки. Когда оставалось лишь въехать в улицу и повернуть направо, совсем неподалёку, за ближней хатой, кривая огненная змея, сорвавшись с неба, скользнула в землю – Алёшку ослепила вспышка, он сжался, вобрал голову в плечи, прикрылся руками. Тут же оглушающе грянул удар грома. Его грохочущие перекаты прокатились, казалось, по спине лошади, по повозке и глухо затерялись в степи, ушли в землю.

Но вот, наконец, и двор. Сторож отворил ворота и Алёшка, не останавливаясь, заехал под навес. Ветеринар сошел вниз, что-то сказал старику и ушёл в дом. Там ещё не ложились – ждали постояльца – в окнах горел свет. Матрёна, повернув голову, смотрела в сторону ворот, где суетился дед.

Алёшку забрали сомнения – может, он успеет обратно, домой? Что кто-то может повстречать его в пути – о том он и думать забыл, в мыслях его теперь была лишь заходящая гроза. Сторож словно прочитал его мысли.

– В обрат невозможно таперя – куды там! Роспрягай кобылу, пострел. Ды отвяди её вон туды, к кормушке! – кричал тонким голосом дед, шаркая по земле и запирая ворота.

Алёшка соскочил с козел, подошёл к лошади. Матрёна шумно вздохнула. Пахло сеном. Жёлтая полоса света достигала навеса, и было тихо здесь, громыхало где-то далеко. Пришёл дед, помог распрячь, отвёл лошадь, воротился и ухватил его за рукав.

– Подём в хату.

– Не... – упёрся Алёшка.

– Эка, чудной... Сожрут ты, что ль?

– Не пойду я. – Он упрямо высвободил руку.

– Ишь ты, гордец какой. Ну, погоди.

Старик кряхтя поднялся по ступенькам, прошёл в хату – и тут же воротился, принеся кринку с молоком, пару холодных картошин в мундире, головку лука и горбушку хлеба.

– Давай, оголец, лопай.

Алёшка застеснялся, выдавил:

– Не хóчу я...

– Ну, будя, будя, – осерчал дед. – Дают – бери... Нешто можно не емши?

Он опять удалился и на этот раз принёс свой зипун.

– Не хошь в хате, ночуй здесь – на сене.

Когда дед ушёл, Алёшка расположился на сеновале: расстелил рогожу и принялся за еду. Хлеб был тёплый, его корка хрустела, поскрипывал на зубах лук, картошка таяла во рту, когда он запивал её молоком.

В хате потух свет, и ему пришлось наощупь шарить руками. По крыше звонко шлёпнула капля, за ней другая, третья – и тут вдруг будто сорвалось, будто кто-то стал сыпать горох на жёсть из большого мешка – хлынул ливень.

Алёшка лёг, положил голову на руку. Крыша намокла, шум дождя стал глуше, ровнее. Сверкнула молния, обнажив свесивавшуюся с края крыши частую занавесь из серебристо-голубых нитей, – а на земле уже лужи, ручейки и вода в них кипит, булькает и пузырится. И тут же всё исчезает – снова темень. И слышно только шорох и плеск дождя.

Но вот уже нет ни дождя, ни грома, ни навеса. Вдвоём с Тимофеем они идут через поле, где высокая трава, летают бабочки. Они идут и разговаривают, вспомнили о железной птице. Алёшка удивляется:

– А как это она крыльями махаить?

– Ты чего? – смеётся Тимоша. – Она прямо летит – и всё. Папаня говорил.

– Да она ж упадёт тогда.

– А вот завтрева приходишь, сам увидишь.

Они идут дальше и вдруг видят: в небе летит железная птица и машет крыльями. И Алёшка, довольный, кричит Тимоше:

– Во, гляди, говорил я тебе!

И тут огромная и чёрная, как грач, птица стала приближаться, потом снизилась, грохнулась о землю и вдруг кинулась к ним, выбрасывая ноги, неуклюже подпрыгивая и хлопая крыльями – взлетали кверху выдранные клочья травы...

Алёшка аж подпрыгнул на зипуне, тараща глаза в темноту, где всё так же шумел и плескался дождь и где-то рядом хрупала сеном Матрёна. И он, успокоенный, снова повалился на сено и теперь уж крепко заснул бестревожным сном.

Было уже светло, когда он протёр глаза и вышел из-под навеса. Вставало солнце – чистое, золотистое, словно омытое дождём. И в утренней свежести, во влажном воздухе его жёлтое,

как лепестки подсолнуха, сияние исходило чуть заметным теплом, похожим на то, какое идёт от только что вынутого из печи каравая. Влажно дышала и парила земля, вдоволь напившаяся дождя. Пахло мокрой травой и сеном, блестели разбросанные по двору зеркальца луж. Небо сияло лёгкой, прозрачной голубизной, словно радовалось, что сбросило на землю тяжёлую ношу туч. Он глядел кругом и ему казалось, что донимавшие его вчерашние страхи – да и сама гроза – ему просто приснились. Но откуда же тогда лужи и крупные капли воды на лопухах возле ограды?

Алёшка вздохнул, оторопело переступил с ноги на ногу. Чего это с ним? Что, не видал он, что ли, такого сроду?

Что-то шевелилось в нём – там, внутри... будто какое-то слово просилось наружу да так и замерло, невысказанное. В растерянности он воротился под навес, подошёл к лошади. Матрёна тихонько заржала. Вот же, шельма, домой просится, и хорошее сено ей не впрок – подумал он. И потрепал по холке кобылы. Матрёнин глаз ласково и преданно смотрел на Алёшку.

Обратно, чтобы сократить путь, он поехал по просёлочной дороге. Теперь он уселся на сиденье тарантаса как заправский ездок.

Дорога блестела вся, сверкала, переливалась солнечными зайчиками. Алёшка совсем отпустил вожжи, понукать незачем – Матрёна сама торопилась домой. Колёса скользили, съезжали в наполненные водой колеи, снова выбирались оттуда – тарантас ходил ходуном. Шлёпки грязи летели из-под копыт лошади, словно потревоженные кузнечики из густой травы. А вокруг – одна красота: воздух чист и свеж, трава зелена, вымыта дождём, у самой дороги травинки клонятся под тяжестью крупных капель, вспархивают и уходят в небо перепела – всё радуется, всё улыбается утру и солнышку...

Едва лошадь, пофыркивая, выбралась на большак, как со стороны Ольшанки слабо донёсся тягучий колокольный звон. Звонили к заутрене. Алёшка вполне поспевал домой – ехать оставалось немного. Он вспомнил о празднике, но не с такой жгучей жалью, как это было вчера. Он надеялся, что поедет мимо и, может статься, увидит кой-чего издали.

Когда завиднелись кроны деревьев у кладбища, поодаль он разглядел кучку людей и слышал прорвавшийся сквозь благовест обрывок музыки. Внезапным приливом поднялось в нём нетерпение, и он погнался лошадью скорее.

И тут он увидел её: на зелёном ковре травы, раскинув крылья, ослепительно сверкая серебром на солнце, стояла железная птица.

Что-то с ним сделалось: зная, что его ждут дома, слыша плывущий надо всем зов колокола, он чуял, как одолевает его греховное желание теперь не ехать домой, и нечаянно искал место, где можно будет повернуть на поле. Но тут проехать нельзя было – обочь дороги тянулась овражина, которая кончалась только перед самым спуском в село. Нетерпение возросло в нём до озноба. Алёшка натянул вожжи – Матрёна неохотно остановилась и недоумённо глянула на него. Он соскочил на дорогу, достиг оврага, почти скатился по склону, оскальзываясь, хватаясь за ветки лозняка, кое-как выбрался наверх, и, заляпанный грязью, но обезумевший от счастья, понёсся по мокрой траве.

Странная, неодолимая сила гнала его вперёд. Она была сильнее колокольного звона, сильнее страха перед совершаемым грехом, перед будущим неминуемым наказанием. Он позабыл обо всём.

Великолепная, сияющая под солнцем, как сама мечта, неумолимо звала к себе железная птица.

## Атаманиша

Не раз наведывалась в Ольшанку атаманиша Маруська, лютущая баба. Удушливым, пыльным смерчем, застывшим солнцем, разгоняющим на своем пути всё живое, носилась по дорогам ее шайка. Самое никчемное отребье человеческого выползло невесть откуда, чтобы напропалую катиться заодно с нею по степи.

На беду, на ужасную беду свою, с ближней улицы прилепился было к лихой атаманише Яшка, забубенная головушка, красивый, нахальный парень, – мужик легкий, ни о чем долго голову не ломавший. Прилепился, якшался с нею, а после от нее же и прятался. Видать, одумался, да уж поздно было, отыскали его, привели. Изобличив отступника в тяжелой вине – предательстве, Маруська коротко бросила своим прихлебателям: «К стенке!»

Четверка вооруженных прихватила его и поволокла к дубовым воротам риги. Отбиваясь, обреченный побагровел до черноты, а глаза округлились и побелели.

– Не верьте ей, мужики! – истошно визжал он. – Она это по злобё, по одной злобё своей сучьей... – тут он всхлипнул, – из ревности черной, ревнует она меня...

Атаманиша потускнела лицом, рявкнула:

– Отставить!

Верные холопы отняли руки от жертвы – как от прокаженного. Она подошла, устала в упор свои, почище огня обжигающие, зенки.

– Ну так недостоин ты, баба, мужицкой участи. Значит, и подохнешь по-бабьи. – И она поворотилась к нему спиной.

Яшка задрожал, сделался весь белый.

– Марусичка! Я ж не хотел, вот те крест! – осенив себя крестом, он зарыдал как ребенок. – Чего ты задумала, холера окаянная?..

Он кинулся к ней, бухнулся на колени, пополз, норовя ухватить за сапог.

– Прости-и-и, родная. Мару-у-сичка-а-а, век молиться об тебе стану...

Атаманиша брезгливо дернула ногой, сбрасывая его руку.

– Пропади ты!.. – И она грязно выругалась.

Яшка уронил голову, ткнулся лбом в пыль, безутешно завывал, размазывая по лицу черные слезы и плюясь грязью. Что он теперь вспоминал, о чем жалел, в чем раскаивался?

Перед тем как удавить несчастного, кто-то из его палачей насильничал над ним под крышей риги.

Случилось уже зимой: Данька, пятнадцатилетний брат погибшего, замысливший отомстить злодейке, поджидал в облюбованном месте. Те, кого тут угораздило увидеть это, так и не поняли, уж не надеялся ли недомерок задушить волчицу собственными руками?

А было так... Кавалькада неспешно двигалась по центральной улице. Как водится, никто не знал, с чем пожаловала атаманиша. Может, и мимо едет, да всё одно: добра от нее не жди. Народ, издали завидя пеструю кучку всадников, разбежался, прятался по домам.

Маруська восседала в розвальнях. Иссиня-черные, что вороново крыло, волосы из-под кубанки густой волной струились поверх полушубка.

У Даньки заперло дыхание. Выждав, когда процессия поравнялась с ним, он молнией промахнул расстояние от калитки до саней и вцепился душегубке в волосы – отчего кубанка слетела на снег, – силясь стащить ее на дорогу. Он почти ослеп, близко увидав бешеные глаза красавицы (и запомнил потом на всю жизнь): желтые в осень, с темным ободком – точь-в-точь глаза рыси с цветной картинки «Всемирного следопыта»... Стащить атаманишу ему не удалось, на удивление очень крепко она сама заломила ему руку.

– Не трогать щенка! – был приказ. – Взять с собой и не спускать с него глаз ни днем, ни ночью. Пушай пока побудет с нами да поглядит, как живем...

Отсюда, с этой точки, началась для юного смельчака долгая дорога странствий.

## Случай на кордоне

Зимой нагрянула на кордон ватага лихих людей с зелеными лентами на малахаях – народец этот состоял из тех, кто отсиживался в лесах в ожидании своего часа. Верховодил «зелеными» свирепого вида, рябой и тощий, с провалившимися щеками, мужик.

Молча взялись переворачивать весь дом: разбили сундук, забрали оттуда всю одежду, белье и даже детское одеяльце вытянули из люльки, из-под грудного ребенка.

Хромой лесник (негнушаяся нога одна была у него короче другой из-за раны, полученной в империалистическую) возразил главному:

– Ведь вы вроде за народ, а чего ж вытворяете? Грабите, последнее отымаете...

– А ты никак думал, – отозвался рябой, – что мы там, в лесу-то, святым духом живы? Уж мы-то за народ, да народ энтот чегой-то сидит в теплых избах, а иттить к нам не жалаить, печка ему милее. Мы одни вон бьемся за вас за всех, – тут он, озлобясь, выругался, – а вам насрать на это...

И он шагнул к белой как мел хозяйке, потребовал жратвы и выпивки.

– Откуда ж нам взять? – всплеснула руками женщина. – Сами ведь голодуем...

Рябой наотмашь заехал ей по лицу тыльной стороной ладони, женщина качнулась, ударила головой о печной угол и рухнула без чувств. Девчонка-пятилетка с ревом кинулась к матери.

– Что же ты делаешь, бандит?! – закричал лесник.

У главного шрам побелел на скуле, налились кровью глаза.

– Ах ты, говно собачье! Я еще тут перед ним распинаюсь... Это я-то бандит? Ладно. Нехай так и будет. А ну, ребята, берите его – и во двор.

С лесника посыпали верхнюю одежду и в исподнем выволокли наружу – там привязали к ближайшему дереву, потом у хаты стали выстраиваться в ряд, клацая затворами. Из избы, всё так же воя, выскочила девчонка, босая, по снегу бросилась к отцу, как зверек взнеслась по веревкам, обвила его шею руками и затихла.

– Снимите с меня малую, – дрогнувшим голосом попросил лесник. – Не берите зря грех на душу.

– А ну, – скомандовал рябой, – Кирпатый, запри ее в избе.

Низкорослый, с кривоватыми ногами, подкатился к дереву и принялся отгаскивать ребенка, но девочка вцепилась мертвой хваткой – он никак не мог ее оторвать (а может, не так уж шибко хотел?)...

Главный глядел, глядел на это, сплюнул под ноги.

– Ладно, братва, уходим. Век нас помнить будут.

И уже после, когда очнулась жена лесника и выбежала во двор, – она так и увидела привязанного к дереву мужа с висящей на нем дочкой. Кинулась на помощь, да веревки никак не могла развязать, растерялась совсем, за ножом бегала.

Вот так леснику повезло избежать неминуемой смерти. Что правда, то правда: разве такое забудешь?

## *Расправа*

В сарае установилась жутковатая, тягостная тишина. Силен был мороз: застрехи казались белыми от покрывавшего их инея. Здесь были собраны не одни лишь сельские активисты, но даже и те, кто хоть мало-мальски имел связи с новой властью. Схваченные кто где и свезенные в одно место, они знали, что теперь им несдобровать – их собрали здесь не для увещаний. О делах этого карательного отряда, присланного главарем мятежа Антоновым, слышно было по всему уезду – худая слава летит быстрее самого быстрого коня.

Тяжкие думы каждого из них ходили кругами – так коршун степной кружит над одним и тем же местом. И думы те были безутешны. Упорно, неотступно возвращались они к неизбежному, неотвратимому – к тому, что скоро должно было с ними произойти.

Ни о каком спасении не могло быть и речи. Воронеж, где как будто крепко держится власть советская, – недалеко. Пусть даже кто-то успел сообщить в губернский город, оттуда не пришлют помощь в одночасье. И этот дурной сон наяву, который им довелось пережить, – только начало. Ужас удесятится, когда их поведут расстреливать.

Снаружи слышалось поскрипывание снега под валенками часового, а в сарае по-прежнему было тихо, никто не проронил ни звука. Среди двадцати четырех мужчин разного возраста, а там была и зеленая молодежь, не нашлось ни одного, кто бился бы в истерике, плакал или, наоборот, притворным весельем, бодрячеством пытался успокоить себя и других. Просто люди внутренне невольно готовились к бессонной ночи, которую они должны провести в ожидании рассвета, к своей последней ночи, когда одна и та же мысль будет неизбежно мучить душу каждого, не давая покоя. И все они, оглушенные, ошарашенные недавним пленением и еще не остывшие от обыкновенных своих забот, как-то нечаянно нацелились дожить до утра, когда уйдет давящая тьма и займется над землей белый свет – как последняя надежда.

Но они ошибались – жить им оставалось недолго и рассвета им не видать. И в неведении этом, они сидели и лежали тихо, без стонов и криков, без проклятий и просьб.

Пошевелив, Петр невзначай закусил губу, во рту сделалось солоно, но такая мелочь не коснулась его сознания. Всё существо его, с головы до пят, было пронизано чувством дикой нелепости того, что произошло. Еще утром, в сутолоке привычных и даже скучных дел, он и вообразить себе не мог, что сегодня же он будет взят, посажен сюда и так вот, очень даже просто, окажется на краю могилы. Что скоро его молодое, сильное тело сделается бездыханным... И что поправить ничего нельзя, как нельзя остановить и повернуть назад время.

Голова горела огнем – казалось, что на ней нет шапки, тогда как та как раз была на месте. Неотступно, неотвязно вместе с кровью в висках стучал вопрос: «Что же дальше?» Петр вызывал в памяти, перебирал в уме похожие случаи, о которых слышал, лихорадочно выискивая лазейку для спасения. Усыпить бдительность охраны, когда поведут, и вырваться, бежать? Но даже если удастся сделать это – успеешь ли скрыться? Тут ведь не город. Да еще зима...

Как и его товарищи по несчастью, он и не подозревал, что самого времени на раздумья практически не оставалось – слепому провидению наплевать на мысли и чувства живых, оно неумолимо. Вопреки ожиданиям, в сторожкой тишине едва начавшейся ночи, загремели засовы, отворилась тяжелая дверь и четверо вооруженных мужиков появились на пороге. Те, кто прибыл в село вершить свои черные дела, придумали делать это ночью. Приземистый в тулупе, с «летучей мышью» в руке, не вдаваясь в объяснения, скрипучим голосом выкликнул Ломакина, председателя Ревкома. Здесь же, перед дверью, под дулами, приказал раздеться до исподнего, а после ему связали руки за спиной и увели – босиком по снегу.

Оставшиеся в сарае замерли – обреченные на смерть, они, казалось, дышать перестали, ждали, напрягая слух, звука выстрелов. Но тишина стояла по-прежнему – зловещая, жуткая,

озадачивающая – и в непонятной тишине этой пришли за следующим... После него каждый уже ждал своей очереди.

Петр ужаснулся: всем вяжут руки – значит крышка, с этим не уйдешь. Он ничего не понимал. Почему не всех сразу? Что за этим кроется? И почему не стреляли? Даже если кончали за околицей, всё равно было бы слышно... Сердце тяжело бухало в ребра, голова пылала. «Вот оно... Что же делать?!»

«Опять не меня...» – механически отмечал он, когда приходили за очередной жертвой, – и от этой пытки темнело в глазах, взрывалось черным пламя переносной лампы. Когда же назвали его имя, Петр, так мучительно ждавший этого, – сделался на время даже странно спокоен. Лишь оставшись в нательной рубахе и снимая последнее – портки, опять подумал: «Свяжут руки – всё...» – и тут сплеховал: оступился и завалился набок, в угол сарая. Но этот переполюх, без всякого умыслу устроенный охране, случился ему на руку: пока подымался, в голове вспыхнула догадка. И когда, матерясь и отвесив ему пинка, пришедшие за ним изготовились вязать ему руки, – он не положил их одна на другую, а соединил со смещением, оставив кое-какой зазор. Не больно-то тверезые мужики, вязавшие его, ничего не заметили.

Его вывели из сарая. Он шел как во сне, холода не чувствовал. Светила луна над снегами и далеко было видно кругом. Видать и впрямь спяну делали свои дела каратели: пока вели его зачем-то до дверей ближней избы, удалось ему подсмотреть то, что видеть было никак не положено, – и картину эту он крепко, до мелочей, запомнил. Там, за банькой, в конце огорода, у лощины, стояли двое с Васькой Шмариновым, которого вывели как раз перед Петром. И этот Васька – давешний бузотер, задира и драчун – перед теми покорно стал на колени, опустив свою буйную голову, – и беззащитно и страшно забелела под луной его шея. Нависший над ним ражий детина, утробно гэкнув, ахнул шашкой – послышался хруст шейных позвонков и, словно подрубленный капустный кочан, свесилась голова, и пало на снег задергавшееся в конвульсиях тело, которое минуту назад было Петькиным дружком Васькой Шмариновым...

«Вон же оно как! – ожгло Петра. – Вон почему не слышать было в сарае... На нас им патронов жалко, – (подгоняемый сзади конвоирами, он не мог отвести взгляда от дюжего *исполнителя*: тот, отворотясь от жертвы, обтирал лезвие комом снега). – И меня к нему?»

В избе, в облаках махорочного дыма, был стол, уставленный жратвой и выпивкой, – за ним с одного, чистого, краю сидели те, кто решал судьбу плененных. «Навроде скорых поминок... и по мне, еще живому», – пронеслось у Петра в голове и явилось острое, нехорошее чувство, что стол этот с четвертью самогонки, кучкой соленых огурцов, луковицами вроссыпь, горкой вареной картошки, желтыми шматками сала – весь вид этого пиршества станет для него последним зрелищем на этом свете. Ему-то осталось жить всего-ничего, а эти и дальше будут себе пить и жрать. И потом будут еще жить и сегодня, и завтра, и много дней после. Вот о чем, совсем некстати, подумал он.

Сидевшие за столом уставились на него, и он сразу признал среди них главного – его глубоко посаженные глаза на широком, заросшем многодневной щетиной, лице безотрывно смотрели на обреченного. Помещавшийся слева от главаря мужичонка плюгавого вида, не вставая со скамьи, – должно быть, по одной на всех бумажке – огласил приговор, заканчивавшийся словами: «...и казнить смертью как предателя трудового народа». За всё время главный не проронил ни слова. На жертву он глядел тяжело, но вроде и без ненависти. В глазах его, мутных, как самогон, стояла какая-то нечеловеческая усталость, какая-то пустота и бесчувствие ко всему на свете – как будто даже и к собственной жизни тоже полное равнодушие показывал его жуткий взгляд.

Петра подтолкнули прикладом к двери и на дворе передали поджидавшим уже палачам. «Хорошо налажено...» – в глухой, безысходной тоске отчаянья подумал он. «Вот и всё. Неужто конец? – стучало в жаркой голове. – Куда тут денешься по такому снегу?» И тут же: «Верзилу, верзилу этого... его надо сперва».

Так прикидывала голова, а руки сами знали что делать. Механически передвигая босые ноги – он почти не ощущал подошв – и слыша из-за спины тяжкое, смрадное от самогона, дыхание, он тихонько шевелил кистями, почуял слабинку и незаметно выпростал правую руку, соображая: с двумя вооруженными мужиками не сладить, всё одно – зарубят или пристрелят, остается последняя надежда: вырвать миг и... бежать, а там уж как повезет.

Чувства в нем напряглись до предела. Изобразив полную покорность – и тем усыпляя бдительность шедших сзади, – он выполнил в точности то же, что перед тем погибший Шмарин: дошел до *места* и, как бы обреченно готовясь проститься с жизнью, опустился на одно колено на утоптаный снег... но тут же вскочил и, собрав оба кулака вместе, что есть мочи саданул дюжего так, что сбил его с ног – и тот в падении свалил своего напарника. Однако второй оказался проворнее верзилы: перед тем как упасть, он успел-таки достать жертву шашкой – скользящий удар пришелся по голове. В горячке Петр сиганул вниз, съехал по склону в лощину, а там, обливаясь кровью, не помня себя, проваливаясь в снег, – скакал вдоль плетня подобно волку, уходящему от погони. Он слышал, что сзади стреляли, и в какой-то момент рухнул без чувств, как подкошенный, но не от пули (после узналось, что в него не попали), а от того сабельного удара. Вот уж где повезло: его не преследовали – там, наверху, как видно, решили, что прикончили его наповал одним из выстрелов. Очнулся он в тишине ночи, с грехом пополам где полз, где ковылял, но добрался до чьей-то хаты, хватило сил достучаться... Обморозил лицо, уши, пальцы на руках и ногах, но как совсем не замерз – сам не знает.

Уже потом стало известно: перед рассветом, как тати в ночи, каратели покинули деревню. А поутру трое подростков первые обнаружили порубленных и окоченевших людей. Где друг на друге, где поврозь... кто плашмя, кто в скрюченной жуткой позе, в которой сковал его февральский мороз, многие с открытыми глазами, – на окрашенном замерзшей кровью снегу разбросаны были двадцать три изуродованных тела: проколотые насквозь, с посеченными головами и ребрами, с поднятыми вверх, порубленными руками...

И Петр едва не стал двадцать четвертой жертвой, но все-таки выжил, пролежав три месяца в больнице. Он и там однажды был от смерти на волосок. Весть о том, что он спасся от казни, дошла до антоновцев, и проверить слух явился в больницу сам Токмаков – правая рука Антонова. Вот как Петр о том вспоминал:

– Ну, думаю, – всё, на этот раз уж точно мне каюк. А он сказал: «Ладно, ежели сам не подохнет, еще свидимся. Он от нас не уйдет».

Но случая подходящего повстанцам больше не вышло, скоро уезд был очищен Красной армией.

## *История одного детства*

*«...на середине жизненного пути, оглядываясь на события прошлого, которые, как толпа друзей смотрят печально вслед нам, спешащим к неведомым темным берегам, – мы иногда замечаем в этой серой толпе какой-нибудь образ, излучающий свет, как будто нашего уже сумеречного неба».*

*Джозеф Конрад*

*О память сердца! Ты сильнее Рассудка памяти печальной...*

*Батюшков*

Шел тридцать седьмой год. Неизбежно близилась невиданная еще в истории мировая война. В европейской атмосфере нависли тяжкие тучи, сгущалось электричество, время от времени вспыхивали зарницы, пугали народы мертвенным своим светом, предвещавшим небывалую смертоносную грозу. Поистине: всё живое попряталось в удобные укрытия, спешно созданные под влиянием страха и слепой надежды.

Впереди было позорище Мюнхена, когда великие мужи Европы попытаются умилистить, умиротворить новоявленного дракона, принеся в жертву ему целые народы.

«Сон разума порождает чудовищ»... Дремлет в человеке зверь да вдруг проснется, явит пораженному миру железные свои клыки. И оживут древние ужасные мифы...

Но влюбленным на всем белом свете не дано выбирать. Ни хорошие, ни плохие времена – не в их власти. Для природы любовь важнее мировых катастроф.

И большое село, расположенное в центральной России, жило своими насущными заботами, в которых, как и от века, главными были труд, рождения и смерти, любовь.

На одной из вечеринок в избе-читальне молодой агроном познакомился с приезжей девушкой, и с этой первой встречи они приглянулись друг другу – обычная история, похожая на тысячи других, происходивших по всей земле.

Судьба распорядилась так, что они стали моими родителями.

Я смотрю на их фотографии тех лет и стараюсь понять, какими они были, эти два молодых, еще чужих друг другу, человека. В их дальнейшей совместной жизни пережили они немало всякого, хорошего и плохого: размолвка и затем война разлучали их – такое бывало у многих. Были ли они созданы друг для друга?

«Приехала я из Борисоглебска работать в незнакомую деревню, мне было девятнадцать лет, только что я окончила медицинский техникум, с отличием – и меня направили в мединститут без экзаменов, но в областной город ехать я не решилась. Нечего было ни обусть, ни одеть, в техникуме жила только на стипендию, родители помочь не могли никак – был голод. Зря я отказалась от института, всё так же – и плохо одетая – выучилась бы не хуже других.

Село-то мне не понравилось, показалось захолустным, даже клуба не было, лишь рядом с церковью – изба-читальня. Первое время так скучала и по городу, и по дому. Только и знала работу, читала книги, писала письма да всё на почту бегала».

Перечитал я эти строки, написанные матерью, и подумал: а случись такое, что была бы у нее тогда кой-какая одёжка, ведь она никогда бы не встретила моего отца – и значит... Я вдруг ощутил себя мизерной частицей огромного мира, развивавшегося тысячелетиями, и кожей, до озноба, почувствовал, что стоит за появлением на свет каждого человека – какая тьма времен и какая ничтожнейшая случайность!

На фотоснимке – неподвластный времени как застывшее мгновение – живой, наполненный молодостью, энергией, искрометный взгляд девушки рядом с волшебным отсветом улыбки отца – ему тогда было двадцать восемь, и он (по рассказам его друзей и родственников) был заводилой, неистощимым на выдумки весельчаком.

А время было нелегкое. Молодой агроном чудом избежал ареста: доносу-навету, запущенному по инстанциям недоброжелателем, по счастью, не был дан ход. После всех бед и несчастий двадцатых годов жизнь понемногу входила в мирное русло и невиданные на селе перемены быстрее других воспринимались молодой порослью – теми, кто во время гражданской были еще детьми.

Мать вспоминала: «Было время светлых встреч, было бедно и весело. Вечерами в избе читальне пели песни, читали стихи. Отец под гитару пел замечательно, он ведь мальчишкой еще пел в церковном хоре, это ему пригодилось. Вот склонит свою голову над струнами... У него были удивительные волосы, цвета сена, жесткие, густые – их не брала расческа. В детстве, на спор, его даже поднимали от земли за волосы старшие братья. Он был красив, обаятелен, за словом в карман не лез, в любой компании с ним было весело, интересно. Да и друзья его были – как на подбор, два Гавриила: один – музыкант-самородок, выучился сам, по слуху, и без всяких нот мог играть на любом инструменте, исполнял даже классическую музыку, ну а второй стал потом знаменитым писателем».

Вполне понятно: на такого парня не могла не обратить внимания приезжая девушка.

Теперь, когда я, будучи старше их, тогдашних, пытаюсь вообразить себе их деревенские посиделки, драмкружок, песни, танцы, свидания и разговоры – у меня это плохо получается. И прежде всего, конечно, потому, что подробности, как расцветала их любовь, знали только они двое, и эта тайна навсегда останется невысказанной.

Село наше старинное, первые поселенцы появились еще во время царствования Алексея Михайловича, когда по соседству, по Дону и Хопру, ставились казачьи городки для защиты южных границ Московского государства от набегов крымских татар. Теперь уж не бывает такого: я родился там же, где родились мой отец, отец моего отца, где жил прадед и его предки. И первый год жизни прошел под отчим кровом. Дед и бабка, двое их сыновей с женами, в это время, перед самой войной, жили в избе, поставленной прадедом Аггеем Северьянычем в 1885 году. По наущению родителя, мой дед – будучи в тот момент пацаном – подложил по углам под нижний венец сруба по медному пятаку на счастье.

Дед и бабка были истово верующими, в доме, как в старые времена, царил домострой. В тридцать девятом году отец мой учился в областном городе, в сельскохозяйственном институте – дома бывал наездами. Что-то не заладилась семейная жизнь родителей вместе со всеми обитателями дедовской избы – и мать, прихватив меня с собой, уехала в Воронеж и стала жить одна.

«Устроилась фельдшером в воинскую часть, мне дали комнату в военном городке. Училась по вечерам на медицинских курсах. Ох как трудно было и работать, и учиться, и еще каждый раз таскать ребенка на своем горбу. На занятия-то ездила с сыном, там он находился в комнате ребенка, играл. Возвращались уже поздно, ехали в десять-одиннадцать часов на трамвае, Сережка уже спал на руках, а был толстый, тяжелый. Бывало – прямо не донести его, даже посторонние иногда помогали дотащить до квартиры. Трудно было... Вызвала младшую сестру из Москвы, устроила на работу и на курсы медсестер, стали жить вместе. Таня, когда свободна была, мне помогала».

Мне очень нравилось кататься на трамвае. По выходным дням к нам приезжал младший брат матери Володя, учащийся ремесленного училища, и надолго забирал меня с собой. Мальчишка, недавно попавший в город из деревни, – он сам был, видно, не прочь покататься. Он устраивался у окна, сажал меня на колени, и мы ехали на «двойке» через весь город до самого сельскохозяйственного института. Иногда, во время таких поездок, удавалось видеться с отцом.

Передо мной фотография начала сорокового года, на которой изображен двухгодовалый надутый круглощекий малыш в пальто, застегнутом на все пуговицы, и в наглухо закрытой шапочке, которую я и по сей день помню как причину моих горючих слез (из-за нее на улице меня обозвали девчонкой). Малыш смотрит прямо в объектив, придерживая растопыренными пухлыми пальчиками большого плюшевого медведя.

Интерес к этому снимку появился у меня, когда я сам стал отцом. В юности-то всё куда-то торопишься, спешишь, не вспоминаешь о прошлом. И в то время я даже с удивлением смотрел на старые фотографии: казалось, что к этому надутому карапузу я не имею никакого отношения. Теперь же, с более дальней дистанции, я наконец разглядел: в глазах того несмышлениша – будто росток, еще не набравший силу, – живет, теплится взгляд матери. И точно такой же взгляд – вот настойчивая печать природы! – нет-нет да и прорывался в глазах моего маленького сына...

Капризная вещь – память. Из каких-то темных глубин, без видимой связи с настоящим, вдруг вспоминается, как отчаянно мечтал я о трехколесном велосипеде и как несравненно счастлив был, когда мне его купили – впереди была война и четыре десятка лет жизни, в которой случалось и немало хорошего, но такого чистого, незамутненного счастья я больше не припомню.

А вот еще воспоминание из тех, довоенных, лет: меня привели к фотографу. Мы оказались в комнате со скудным освещением. Само по себе это странно, но я не запомнил яркого света, наоборот – помню лишь темный угол, в котором мы должны были сниматься. Пока взрослые о чем-то разговаривают, я настораживаюсь от непонятных мне движений человека с ящиком. Совсем не могу вспомнить самого фотографа, но помню свое впечатление о нем: я был загипнотизирован его манипуляциями и немного боялся. Чьи-то руки (это была Таня, сестра матери) подняли меня и усадили на возвышение. И я запомнил гладко-ворсистый на ощупь материал плюшевой накидки, которая была подо мной.

Подобные мелочи, засоряющие память, кажутся совершенно лишними – от них как-то хочется избавиться. Если в юности, которая всё еще рядом с детством, память неохотно возвращается в ранние годы, то почему она мучает, когда становишься взрослым?

Что проку в этих щемящих, тревожащих душу воспоминаниях?

Это была последняя фотография из мирного времени.

Грянув над Европой, круто изменив судьбы многих миллионов людей, военная гроза докатилась и до нас и разметала остатки едва родившейся семьи. Летом сорок первого, в первые недели войны, всяческой неразберихи хватало: моя мать, военфельдшер второго ранга, со своей частью отбыла на фронт, как ей казалось, ненадолго – на один-два месяца. Как и все тогда в нашей стране – от поэта и композитора, создававших полные оптимизма песни, до рабочего, колхозника или красноармейца – она была уверена, что скоро вернется домой с победой. И никто не догадывался, что точно так же об этом думала почти вся Германия, имея в виду совсем иную победу.

Девятнадцатая стрелковая дивизия, в которой служила моя мать, в составе двадцать четвертой армии оказалась в самом пекле на центральном участке фронта, загорая путь немецким армиям, рвущимся к Москве. Впереди было окружение под Вязьмой...

Я в это время находился в деревне, у деда с бабкой – и никто из взрослых не подозревал, какую штуку выкинет еще со мной охочая до фантазий судьба.

Так уж водится, память избирательна: многое из того, что случается в жизни, исчезает вместе с прошлым – так, будто его и не было вовсе. Но многое и остается. И неправда, что человек крепко запоминает только хорошее или только плохое – память, как и сама жизнь, наполнена и радостями, и страданиями.

Теперь я как будто стою на холме, обозревая окрестность жизни. Вблизи события видятся отчетливо, подальше, к горизонту, они теряют свои очертания в дымке времени, а немалая часть того, что сокрыто за горизонтом, – кануло в забвение. И всё же кое-что из оставшегося за его чертой, словно под воздействием великого оптического волшебства природы – миража – вдруг встает перед глазами так чисто, отчетливо, что становится как будто даже реальнее самого ближайшего события. По этим осколкам прошлого не восстановить полной картины – в ней неизбежно окажутся пустоты – но невозможно уйти от отдельных, поразительно ярких воспоминаний...

В мае сорок первого (недавно мне исполнилось три года) отец повез меня на лето к своим родителям.

Шесть километров от станции Народной он шел пешком, я сидел на его плечах и мне было хорошо смотреть на мир с высоты, было ощущение, что я сильно оторвался от привычной мне земли. Теперь уж не вспомнить, о чем отец говорил со мной во время долгой дороги, но я прекрасно помню, что нам было очень весело, и я смеялся вволю.

Старая полувековая изба казалась мне огромным сказочным жилищем, похожим на лабиринт, войдя в который со двора и поплутав изрядно, можно было неожиданно очутиться в саду, совсем с другой стороны дома. Устроена изба была таким образом, что многие помещения располагались вокруг большой русской печи – на нее я забирался по приступкам, как на гору. Хорошо помню длинный стол, за которым собиралась вся семья, божницу в углу, неподалеку от стола полукруглый зев печи.

За стол всегда усаживались чинно, во главе садился дед. Каждый раз перед едой он творил молитву и лишь после этого начинал священнодействовать. В те дни, когда разрешалось есть мясо, он сам раскладывал из чугунок по мискам куски баранины, а уж бабушка после разливала густой, дымящийся паром, кулеш. Малых детей, вроде меня, сажали поблизости от деда, чтоб мы чувствовали рядом его присутствие и не безобразничали за едой. В случае же провинности дед всегда мог дотянуться до нас рукой с воспитательной целью – следовало немедленное и неизбежное наказание: щелчок по лбу деревянной ложкой. Было совсем не больно, однако возмездие выходило звонким и оттого, что оно происходило на глазах у всех и получалось, как говорится, публичным, было обидно до слез. И каждый такой случай уж непременно задерживался в голове.

Однажды, впрочем, я избежал обычного наказания, но лишний раз получил не менее сильный урок на предмет той непреложной истины, что детям вовсе не обязательно есть всё, что едят взрослые.

Углядев, как отец мажет кусок мяса чем-то похожим на яблочное пюре, я попросил сделать мне то же самое. Был ответ – нельзя, но я упрямо требовал свое. Дед нахмурился, но не успел по обычаю навести должный порядок – его опередил мой отец. Зачерпнув на кончик ложечки столь желанное мной, как я думал, «лакомство», он сунул его мне в рот... Из глаз

моих градом посыпались слезы – неожиданные, но вразумляющие скорее и слова, и наказания. Это была горчица – отец наглядно продемонстрировал мне, как познается жизнь на опыте.

Теперь, став старше своего отца, тогдашнего, я твердо знаю: в жизни с самого малолетства надо бояться не горького, а сладкого. Изнеженная сызмальства потачкой душа навсегда останется ущербной.

Я жадно знакомился с новым для меня миром отчины. Палисадник с множеством длинноногих, ярких и душно пахнущих цветов – их распустившиеся бутоны были похожи на длинные платья бабушки – казался мне настоящим лесом, а уж в саду и вовсе можно было потешиться.

Нежданно-негаданно в этом моем новом мире объявился ужасный и злощипый враг, однажды подкарауливший меня во дворе у крыльца и с остервенением набросившийся сзади. Это был красавец-петух с великолепным оперением, отсвечивающим и переливающимся изумрудом и золотистой ржавчиной. По странной прихоти памяти о красоте его я вспомнил и по достоинству оценил ее лишь много позже. А тогда-то, естественно, мне было не до нее – разбойник больно, до крови, проклевал мне кожу на спине меж лопаток. Чем я ему не понравился? Может, он таким образом цыплят охранял? Этого я не знаю.

В наказание герой был лишен свободы передвижения и его постигла участь собаки на привязи – веревка соединяла его ногу с жердочкой, воткнутой в землю. А я уж не забывал обходить его стороной.

Мои детские впечатления о дедовском доме и родной деревне как-то слились воедино, вобрав в себя два периода: май-июнь сорок первого и лето сорок четвертого, когда в последний раз привозили меня сюда. И в памяти детские приключения, происходившие в первом случае с трехлетним, а во втором случае – с шестилетним мальчишкой порой стоят рядом, а то и вовсе накладываются друг на друга, будто и не было меж ними перерыва на эвакуацию. Вот, например, сильное – и оттого запомнившееся – переживание для меня, уже шестилетнего...

Деревне нашей повезло: немцы так и не смогли дойти до нее. И из далекого города, название которого я мог выговорить с трудом, приехал погостить мой двоюродный брат со своей матерью. Он был всего на год старше меня, но сильно удивил меня своей важностью. От него я узнал, что на свете городов много всяких, а тот город, в котором жил он, с Железными Конями на мосту, – один такой во всем мире. В первый же раз, когда я назвал брата по имени, он сердито заявил мне: «Я тебе никакой не Сеня, я – Семён!». И окончательно он поразил меня, когда, отбив дробь ладошками на своих коленках и притопнув босыми пятками передо мной, он спел:

*эх яблочко куды ты котисся попадешь милой в рот – не воротисся... эх яблочко да на тарелочке, надоела мне жена – пойду к девочке.*

Начало этой песенки я понял хорошо: вспомнился колобок, доставшийся хитрой лисе – здесь та же участь грозила яблоку. Остальное я тоже запомнил сразу, но я не совсем понял про жену и кому она надоела – о чем и спросил. Семен прищурился:

– А ты мал еще, понял? Подрастешь – узнаешь.

Обидно это было – ждать, и я еще спросил:

– А долго расти надо?

– Да хоть бы как я когда будешь, тогда уж...

Мне стало совсем грустно: казалось, пройдет огромное время, прежде чем я стану таким, как Семен...

В доме над всем царила воля деда. Когда случалось провиниться, он отводил меня в спальню и ставил в угол напротив напольных старинных часов. Наказание придумано было им замечательное. Он говорил, что я должен постоять здесь и подумать. И дожидаться того момента, когда минутная стрелка дойдет до места (он показывал цифру), после чего я смогу покинуть угол. Он уходил, а я, не сводя глаз с циферблата, с нетерпением ждал момента обретения свободы. Теперь-то понятно – дедовское изобретение было просто гениальным. Внимание уводилось от унизительного торчания в углу и переключалось в другую сторону, но вместе с тем наказание за проступок было чувствительным: монотонное качание маятника за стеклом, ощущение тягучести времени – как будто нарочно замедленное движение стрелки до желанной цифры... Зато наказанному дарилась возможность покидать угол самостоятельно!

А лето дарило нам свои радости: бывало, мы целыми днями пропадали у маленькой речушки с обрывистыми берегами, скорее похожей на ручей – там, где мы купались, ее можно было перейти, не замочив пупа.

...На песчаной косе я лежу нагишом на животе рядом с девочкой, такой же голенькой. Мы лежим в воде на мелком месте. Совсем не помню, кто она, как выглядела – помню только, что это была девочка. Лежу я выше по течению, прохладные струи омывают, обтекают меня; я вижу, как прозрачные колеблющиеся нити уходят к ней – у меня возникает незнакомое сладкое ощущение, что струями я касаюсь ее, что вода как-то связывает нас непостижимым образом...

Речушка была нашим идолом, которому мы истово поклонялись. Наплескавшись до посинения, мы выбирались наверх, ложились возле самого обрыва на зеленый ковер травы и глядели вниз, следили за стрекозой с пронзительно синими крылышками – такими яркими на чистой белизне песка. Смотрели, как она, пролетев над серебряно взблескивающими речными струями, опускалась на какой-нибудь вымытый гляцевый нежнозеленый листочек, слегка покачивающийся над самой водой.

Как пахла обыкновенная трава! Как пахла нагретая солнцем собственная кожа, когда под ласковыми лучами уткнешься носом в согнутую в локте руку! Этот, едва уловимый, теплый запах, казалось, исходило само солнце...

Лишь спустя годы, в такой же солнечный день, на пляже, когда я лежал на песке, касаясь щекой плеча любимой женщины, мне *вспомнились* вдруг и запах нагретой солнцем кожи, и ушедший навсегда, невозвратимый мир. И я был поражен этим внезапным возвращением в то далекое время, когда меня как будто и не было, а был вместо меня кто-то другой, очень мне близкий, но, кажется, бесплотный, ангелоподобный, каким-то образом чувящий, что он сам и мир вокруг: и земля, и вода, и воздух, и небо, и солнце – неотделимы друг от друга, едины.

Тогда, в то последнее предвоенное лето, я верил всем своим существом: всё то, что я вижу перед собой, будет всегда – будут всегда и речка, и трава, и разомлевшие от зноя ветлы, макающие космы свои в чистую, как небо, воду. Мог ли я знать, что этот мир так же хрупок и уязвим, как та нежная стрекоза с перепончатыми крылышками, и что над ним уже занесена железная длань войны? Что, едва начавшись, окончится для меня деревенское лето и оборвется связь с ласковым, греющим, журчащим миром...

Надвигающейся катастрофы не чувствовали взрослые, что же говорить о ребенке? Я просто жил – этим всё сказано. Разве плохо оставаться под отчим кровом? Целыми днями мы, дети, пропадали на свежем воздухе, бабушка отпаивала нас парным молоком.

Но не всё гладко было в моей жизни. Отец работал в соседнем хозяйстве, дома я видел его редко и скучал по нему. Домочадцев кругом было немало, и я, должно быть, порой путался под ногами – и мимоходом то один, то другой, все понемногу, время от времени принимали участие в моей не совсем устроенной судьбе. И несмотря на то что рядом было много взрослых

(а может, именно благодаря этому), мне часто бывало одиноко, так как сильно нехватало одного человека – мамы. Без нее я грустил, чувство неприкаянности, заброшенности нет-нет да и настигало меня. Днем, особенно на речке, я забывался. Но когда время близилось ко сну и я видел, как кого-то из малышей укладывает его мать, мне было очень горько и я тихонько плакал в подушку. А на следующий день выспрашивал у всех, кто попадался в доме – почему же не едет моя мама? По их ответам, то уклончивым, то чересчур ласковым – я улавливал, что они этого не знают. И никто из них не догадывался, что мамой-то я звал сестру матери – Таню: живя до этого в городе, я сильно привязался к ней и очень ее любил. И теперь вот изводил всех бесполезными вопросами.

И неотвязная мечта моя, чтобы приехала мама, как будто возымела действие: тетя Таня в городе получила письмо от моей матери, в котором она писала, чтобы Таня поехала в деревню и забрала меня и чтобы я был при ней, пока не кончится война.

Таня растерялась – она работала медсестрой в госпитале, ждала нового назначения. И что же будет, если на руках у нее окажется ребенок, на которого она не имеет никаких прав? Да и зачем это? Не лучше ли в самом деле дождаться конца войны – а там уж родители пусть сами решают, с кем оставаться их ребенку, с отцом или матерью? Но Таня, человек очень доброй души (так уж сложилось, что она была незамужем и во всем помогала сестре), совсем ничего не предпринять не могла.

И она решила съездить в деревню, узнать, как и что, и написать сестре, успокоить ее. Вот как уже после войны она вспоминала обо всем в письме.

«Прихожу на работу отпрашиваться, а начальник меня не отпускает – чего ты, говорит, удумала, разве нынче время такое, чтоб разъезжать? Да как же, говорю, сестра просит, она с мужем в разводе, сам он по слухам работает на стороне, мать – на фронте, а мальчик теперь без отца-матери, надо проверить, как он жив-здоров. А сама себе думаю: забирать я Сережу, конечно, не буду – разве плохо ему там, у деда с бабкой? Погляжу только – и обратно. Приехала, вошла в калитку да так и замерла на месте – выбегает мальчонка и кричит: «Мама, мамочка, ты приехала!». А сам аж дрожит, худенький, грязный – прижала его к груди, и думать не думала, что он меня помнит, не забыл. И гладит меня по щеке, глазенки так и блестят от радости, и всё тараторит без умолку: «Ты теперь будешь у нас жить, да, мамочка? Я буду спать с тобой... Ты больше не уедешь, да, мамочка?». А я даже слова не могу вымолвить, сердце разрывается – как же, думаю, я теперь поеду обратно одна и его оставлю? Тут дед вышел, за ним бабка. И невестка, одна, потом другая. Все собрались и стали причитывать, как им тяжело: дед своё, бабка своё, невестки своё. И я решилась – будь что будет, а теперь уж выхода нет, заберу ребенка с собой. Так им и сказала. Принялась я Сереженьку мыть, одевать, и никак слез не остановлю, всё текут и текут, проклятые... Скоро и отец откуда-то явился, улыбается с порога:

«А, Танюшка приехала... здравствуй». Ну, думаю, теперь всё – не отдаст он сына. Но он ничего, спросил только: «Сережку что ль забрать хочешь? Мать написала? Ну-ну... Видно, уж дела у него были поважнее, вечером он отвез нас на станцию. Доехали мы до Поворино, а оттуда уж с эшелонам до Воронежа. И вот приехала домой, посадила Сережу на кровать и опять – в слезы... Да что же, говорю, я с тобой делать-то буду, господи... Завтра мне на работу, а тебя – куда? А он мне: мамочка, ты иди на работу, а я буду сидеть тихо-тихо и ждать, только не отвози меня обратно... И заплакал. И тут я пришла в себя – мальчик ты мой, никуда я тебя больше не повезу, будем жить как-нибудь вместе. Ну, так и стали жить: я уходила на работу, а Сережа взаперти сидел один; всё ему наготовлю, а он сам и поест, потом играет с игрушками. Купила ему трехколесный велосипед – уж как он радовался! Так целыми днями потом и катался по комнате, пока не приду... Узнал обо всем начальник, вызвал и давай костить меня: дурья ты голова, ребенок не твой, зачем его привезла, под трибунал попадешь. Слава Богу, главврач помог».

Выходит, тот мальчишка, о котором теперь я имел смутное представление, тут же позабыл все удовольствия сельской жизни, едва появилась мама: доверившись инстинкту, он выбрал одно-единственное, не заменимое ничем и заменяющее всё на свете.

И вот, оказывается, в связи с какими подробностями появился у меня велосипед. Раньше я вспоминал его как приметку довоенного времени – и ошибался в этом. А впрочем, всё верно: война уже грохотала, но железный грохот ее еще не достигал маленькой комнаты, в которой я самозабвенно раскатывал на трех колесах.

Мама Таня вспоминала.

«Пришло время эвакуации. За нами прислали машину, никаких вещей брать с собой не разрешили, взяла только чемоданчик с Сережиной одежкой. На станции погрузили нас в товарный вагон-теплушку – посередине стояла железная печка. Вагон был с нарами и было очень много народу, нам место досталось возле дверей, ехали двое суток, двери открывать нельзя – сильно бомбило. На какой-то станции нас всех выселили из вагона, перевели в станционное помещение, накормили, дали хлеба – там мы пробыли сутки. Потом подали пассажирский состав и стали всех распределять по вагонам. Нам с Сережей повезло: попали в комсоставский и даже устроились у окна».

Как передать на человеческом языке тогдашние впечатления, которые входили в меня, как вода в песок, исчезая как будто бесследно и, кажется, не оформляясь не то что в понятия, но вообще – в какие бы то ни было слова? Ведь мир принимался лишь сердцем, чувствами... Значит, существует, как сказал поэт, *память сердца?*

Необходимо, видно, смириться с тем, что на языке слов может явиться лишь бледное отражение пережитого.

Из долгого пути в Среднюю Азию, нескончаемого стука колес, рева паровозов, пересадок, сидения на перронах я запомнил немного.

*Тяжелый смрад донельзя переполненной теплушки. Вдруг – остановка ночью посреди черной непроглядной степи: полуоткрытая дверь, чистый, прохладный воздух, знакомо – резко и горько – пахнувший польнью...*

*Стоянка на забитой составами станции, на соседнем пути воинский эшелон с моряками – там поют песню «Прощай любимый город». Она льется то почти замирая, то усиливаясь, и тогда грубые, суровые голоса звучат мощно – хор моряков низко гудит басами. Не знаю, отчего я так разволновался: то ли подействовала повторяющаяся грустная нота прощания или, может, насторожило отсутствие женского голоса в пении... Что-то перевернулось в маленькой душе моей – я прижался к маме Тане и чуть не заплакал...*

*Еще станция – но теперь уж я смотрю из окна пассажирского вагона. Едва виден затемненный перрон, единственная лужица света – слабо освещенный изнутри круг часов, висящих на столбе, тускло отсвечивают рельсы. Слышно близкое пыхтение паровоза, потом тревожные воющие гудки сирены, а в вагоне испуганная темнота, жуткая тишина и белые пятна лиц. И чей-то шепот:*

*«Господи»...*

«В комсоставском вагоне я познакомилась с Анной Петровной, она ехала с тремя дочками: Верой двенадцати, Надей девяти и Любой пяти лет. Ее муж, старший лейтенант, был на фронте. Ехали мы почти два месяца вместе, и за долгую дорогу я просто полюбила эту замечательную женщину, которая – сама-то с тремя детьми – и нас еще выручала из всяких бед. Никогда этого не забуду... Прибыли в Алма-Ату, там нас приняли, отправили в город Манкент,

где и распределили по колхозам. Мы с Анной Петровной попали вместе в аул Кара-Булак. Там нас поселили у старика Бекбулата Исаева – у него был внук Абдунаби – ровесник Сережи. Сережа сразу с ним сошелся, подружился, хорошо научился разговаривать на их языке – потом даже стал у нас домашним переводчиком. На воинский учет мы стали еще в Манкенте и через месяц нас вызвали в военкомат. Анна Петровна получила деньги и карточки на хлеб, а мне ничего не выдали. Военком сказал мне: аттестовать ребенка не могут, так как на запрос о его матери пришел ответ, что сведения о ней отсутствуют. Уж не знаю, что было бы с нами, если бы не Анна Петровна... Пока я на работе, она вместе со своими детьми и кормила Сережу, и присматривала за ним. Когда она переехала на другую квартиру, нам стало труднее».

Тут следует сделать небольшое отступление.

И сам я, и предки мои родились в центральной части Европейской России, в степном краю между Хопром и Доном возле речки Карачан – той самой, в которой я купался. Название этого притока Хопра, как и многие другие в нашей области – следы давних нашествий кочевых племен с Востока. И теперь, переместившись в обратном направлении, по прихоти судьбы в лице распорядителя на эвакуационном пункте в Манкенте мы и оказались в местечке с похожим тюркским именем – Кара-Булак. Восток приютил нас, беженцев с Запада. Теперь как раз с Запада шло нашествие и мы не знали, что творится на нашей земле. Мы ничего не знали об отце, где-то в огне войны затерялся след матери...

Прямоугольный глухой дворик, залитый ослепляющим горячим светом – я и сейчас, спустя десятилетия, хорошо вижу его: бело-стенные глинобитные мазанки, сараюхи по периметру, таратайка с уроненными на землю оглоблями, небольшой навес с жердями-подпорками и одна из дверей в нашу каморку, которую теперь, оглядываясь, я вижу пчелиной сотой – до того она была мала.

Молчаливый старик с морщинистым и темным, как брошенное возле стены конское седло, лицом смотрит на меня сощуренными глазами-щелками, показывает жестом, чтоб я подошел. Я подхожу – и моя ладошка скрывается в его узловатой и такой же темной, как лицо, прохладной руке.

Он ведет меня к себе – обедать. Зная, что хозяева наши едят руками, мама Таня снабдила меня деревянной ложкой – и напрасно... Едва все уселись на ковре вокруг большого черного котла, старик, не говоря ни слова, отобрал у меня ложку, спокойно переломил ее и отбросил обломки. Я удивился и не знал, что подумать, но, когда бабушка передо мной поставила миску и все принялись за еду, я понял, что надо подчиниться и есть, как все.

Очень скоро я крепко подружился не только с вертлявым, смуглым, черноглазым Абдунаби, но и с дедом. Бывало, я ходил за ним по пятам, мы разговаривали – наверно я мешал-таки ему во всяких домашних делах, но он никогда не гнал меня от себя. Я выучился новому языку и уже не только понимал, что мне говорили, но и сам мог объясниться. К своему внуку дед строже относился, чем ко мне, а вообще, несмотря на его некоторую угрюмость, доброта старика чувствовалась всеми – это свойство скрыть невозможно.

Под навесом дед стрижет нас, одного за другим, большими ножницами, какими стригут овец: совсем белые, выгоревшие на адовом солнце, пряди моих волос падают вниз на черные, как смола, кудри Абдунаби – потом мама, смешав, выметает их со двора...

Солнце клонится к закату, но еще горячи пески за нашей саклей, стоящей на краю аула. Знойный воздух дрожит над барханами, но всё же не так больно глазам и не так душно, как днем. В тени под стеной я играю дынными корками – других игрушек нет, но я счастлив: сегодня мне позволено играть на улице. Сидеть под замком надоело. Несколько дней кряду в доме никого не было: дед отсутствовал, Абдунаби и бабушка уехали в район, и мама, уходя на

работу, запирала меня на замок на целый день. Взаперти время тянулось очень медленно, и я вслух рассказывал себе сказки, какие знал, а то и начинал придумывать новые или мечтать о том, как мама или дедушка возьмут меня с собой на целый день и я с утра до вечера буду с ними и увижу там много интересного – даже осликов и верблюдов.

А вчера, вернувшись с работы, мама не нашла меня в нашей маленькой комнате, где невозможно было спрятаться. В ужасе она кинулась искать меня во дворе, потом на улице, но меня нигде не было и никто меня не видел. Чуть ли не в обморочном состоянии, она ворочилась, в слезах повалилась на сундук... и тут увидела меня – забравшегося в узкую щель меж сундуком и стеной и крепко спящего в неудобном положении.

На воздухе играть веселее. Каждая дынная корка – маленький кораблик, у меня их целая флотилия. И она плывет по песчаным волнам через все пустыни туда, где есть вода, много воды, где воздух свеж и прохладен, где есть деревья и зеленая трава, где поют птицы и летают стрекозы.

Время от времени я поглядываю на дорогу. Как только сядет солнце, приедут с работы мама и дедушка. Может, после ужина во дворе дед станет петь свои песни. Он хорошо их поет – кажется, песни уносятся прямо к звездам. Туго натянутой струной, вибрируя, звенит остывший воздух...

Плывут мои кораблики в далекую зеленую страну.

Играя, я потихоньку напеваю песню деда. Нечаянно сбиваюсь на русский и, позабыв о чахлой пустыне, об узких улочках аула, о сонных на жаре мазанках, пою о зеленых деревьях, склонившихся над речкой, о рыбешках, плавающих в прозрачной прохладной воде. Но русские слова не вяжутся у меня с заунывным мотивом. И тут меня одолевает видение – я даже об игре забываю... *Тонкие деревца, белоствольные, легкие как дым; речушка под обрывом, выглядывающая из густых зарослей ивняка...* Это похоже на сон, приснившийся наяву. Разве я не знаю, что горячее солнце, аул, барханы – всё это есть и будет всегда?

Я поднимаюсь на ноги. Солнце уже коснулось края земли. И в той стороне всё небо в огне. Я слежу за солнцем, терпеливо жду, пока оно скроется. И вот язык огненного диска прощально сверкнул и спрятался за барханами. Быстро слабеет свет и в угасающем пламени зари, будто дырочки в другой мир, появляются первые бледные звезды.

Заслышав тархтение колес, я вприпрыжку бегу навстречу – радость захлестывает меня: дед Бекбулат едет и не один, в повозке я вижу и маму, и бабушку, и Абдунаби...

Как я теперь понимаю, даже в мирное время жизнь людей не бывает безоблачной – а уж во время войны... Скоро над нашей более или менее наладившейся жизнью уже нависла тяжелая туча.

Мужчина в военной форме (до этого я видел его раз или два), сжав маму в объятиях и странно вертя головой – он как будто ртом искал чего-то – пытается завалить маму на спину. (Война – время бесчисленных расставаний, и мне доводилось не раз наблюдать, как взрослые целуются при прощании; но я не знал, какие еще поцелуи бывают между мужчиной и женщиной.) Видя, что военный отводит руки мамы, которыми она упирается в его грудь, и побычьи гнет голову – я испугался. Я понял, что это не шутка и не игра. Пораженный до остолбенения, я догадался: этому человеку нужно что-то такое, чего мама не хочет и противится изо всех сил, но он сильнее и может одержать верх. И это что-то, чего я не знаю и чего он может добиться насильно, – кажется мне ужасным, невыносимым... Я закричал сильно, страшно, в полубеспомоществе в него вцепился и принялся колотить руками, головой, ногами... Совсем не запомнил лица военного, когда он уходил, помню только, что оно было бледным и на лбу блестели капли пота. Мама с плачем прижала меня к себе, и я почувствовал себя спасителем.

А спустя много лет я узнал, что таким вот образом мы вступили в конфликт с начальством и вскоре оно – это был военком – вполне официально вызвало подлежащую мобилизации гражданку (ребенок-то на ее руках – чужой) и в своем кабинете поставило вопрос ребром: либо она будет с ним, начальством, поласковой, либо отправится на фронт.

Мама в сердцах бросила в наглеца чернильницу, что и решило исход дела.

Наверно, это было в тот самый – последний – вечер. Дед сидел на корточках, привалился спиной к стене сакли, молчал. Он как-то долго и странно смотрел на меня, будто собирался сказать мне что-то. От взгляда его у меня внутри стало беспокойно и холодно, и я стоял перед ним не шелохнувшись. Потом вздрагивающей ладонью он легонько погладил мою голову и отвернулся.

Он так и не сказал мне ни единого слова.

«Вернулась я из района, зашла к Анне Петровне, сели мы с ней рядышком и давай обе реветь без остановки – да толку-то что, слезами горю не поможешь. На следующий день повезла Сережу в Чимкент оформлять в Детский дом и по дороге всё держалась, чтоб не сорваться в рев. Но ехать ему было интересно и ни о чем он, бедный, не догадывался. И остался даже с охотой, спросил только, скоро ли я за ним приеду. И отправилась я обратно, не видя дороги. Кто ж его знает, может, я сейчас последний раз в жизни с ним разговаривала. Вдруг меня убьют на войне... Одна надежда была на письма, которые отправила – может, хоть одно до отца дойдет. А сердце мое просто разрывалось – перед глазами так и стоял Сереженька, мальчик мой дорогой, смотрит на меня, улыбается, и улыбка эта душу переворачивала. Он ведь молодец, что мы с ним пережили, и всегда улыбка его светлая мне в самые черные дни помогала... Ну, воротилась в Кара-Булак, собралась, дед прощался со мной туча-тучей, еще больше почернел с лица. Ох, как я его понимала, Сережу он сильно полюбил, души в нем не чаял. Вот раз как-то, во дворе это было, Сережка довел меня чем-то, схватила я хворостину – для остротки, конечно. А дед подумал, что я серьезно, бить его собралась, – да подхватил оглоблю, да за мной: «Не трог Серга, не трог Серга!». Уж как хохотала я тогда, а теперь смотрела на деда и кусала губы...

Повезли нас в Ташкент, там одели всех в форму, посадили в эшелон, и мы поехали – быстро поехали. Привезли нас в Баку, потом разместили в горах, и стали мы там нести службу. Однажды по тревоге погрузили всех снова и повезли ночью, бомбежка была страшная, но, слава Богу, пронесло. Где-то в степи выгрузились, шли пешком строем, потом опять ехали. Когда прибыли на новое место назначения, опять налетели самолеты и давай бросать бомбы, так часто и много – и больше уж ничего не запомнила... Меня сильно контузило, очнулась в госпитале. Спасибо тем, кто рядом был – вынесли, вывезли. Спасибо врачам, очень хорошие там были люди, и русские, и казахи, долго они со мной возились и выходили, а когда выписали подчистую – даже провожатого дали до места.

Я – сразу в Чимкент. Чувствовала я себя еще не очень хорошо, но об этом не думала, забыла. Душа изболелась – как там мальчик мой? Сережа оказался, слава Богу жив-здоров, подросток, худенький – кинулся ко мне: «Мама-мамочка! Как долго тебя не было!».

Этот год, когда вся страна, «от Москвы до самых до окраин», все силы напрягала на то, чтобы выстоять в схватке с врагом, в моей памяти связан с чувством голода, которое, хочешь не хочешь, не забывается.

В комнату, где много детворы с игрушками, входит женщина, держа в руках поднос, на котором горка нарезанного хлеба. Мы срываемся с места и со всех ног бросаемся к ней – в

несколько секунд поднос опустошается. Обыкновенно больше доставалось тем, кто успевал раньше.

Во мне сидел какой-то внутренний тормоз: казалось, что в этом есть что-то неправильное. И, увлекаемый всё же общим порывом, я неизменно проигрывал в этой гонке. Наверно, так происходила дополнительная кормежка детей оставшимся хлебом, а может, и нет – я не знаю. Памяти не прикажешь, у нее своя логика.

А в общем, если не считать долго мучивших меня огромных чирьев на ногах, которые мне разрезали, чтоб удалить гной, – в Детдоме, кажется, жизнь была более или менее налажена. Плохо было только одно: много-много дней и ночей я ждал маму, а она не приезжала.

Вспоминая то время, думаю: ведь мне повезло в жизни – я избежал участи многих. Сколько ни в чем не повинных детей стало жертвами в годы жесточайшей из войн – этого уже никто никогда не подсчитает. Судьба меня пощадила, и не ибавиться от царапающего сердце чувства – чем же я лучше их?

«Вернулись мы в Кара-Булак. Анну Петровну уже не застали, ей пришел вызов, и она уехала с детьми на родину. Пришли к Бекбулату, он так нам обрадовался, принял как родных. Он и работать меня устроил в артель, где работал сам. Стала я получать зарплату, паёк, и мы с Сережей не так уж и плохо зажили, я даже купила ему кое-что из одежды. А там и вовсе: правление выделило нам комнату и мы поселились по соседству с другой русской семьей. Сережка продолжал бегать к деду, подолгу оставался там играть с Абдунаби, приходилось иногда ходить туда за ним. Бывало, заиграется и не вспомнит, что уж домой надо. И не мудрено – хорошо ему там было... Вот сколько лет с тех пор уж прошло, и дедушка давно умер, но, пока жива, помнить его буду... Какой был человек!

Ну, в общем жизнь у нас наладилась. И вдруг однажды – это было осенью сорок третьего – в правлении мне сказали: «Там тебя лейтенант спрашивает, женщина. Говорит, что она твоя сестра»..

В моей жизни снова обозначился крутой поворот.

Летом сорок первого года судьба соединила нас с мамой Таней, теперь по ее же воле мы должны были разлучиться.

В тот раз, без особых планов навестив меня в деревне, она не смогла поступить по-другому – хотя к тому причины были весьма серьезные! – не смогла заставить себя обмануть мою к ней привязанность, доброта ее сердца оказалась сильнее здравого смысла. И она не оставила меня.

Когда, десятилетия спустя, я вспоминаю об этом, душа моя немеет.

Двадцатилетняя девушка, человек очень дисциплинированный, она поступила – в условиях военного времени! – поперек воли начальства, вопреки собственному голосу разума (как она будет жить с чужим ребенком?) и наперекор самой войне, смертоносным валом приближавшейся к городу – всё это исчезло для нее, едва увидела она молящие глаза ребенка, услышала его крик: «Мама, мамочка, ты приехала!». В ответ на движение маленького сердца ее, еще не знавшее материнства, но бесконечно отзывчивое женское сердце не могло решить иначе.

Поистине, есть человеческое свойство, которое выше – да и важнее – других. Оно – двигатель жизни: не будь его, мир затопило бы зло, и человечество прекратило бы свое существование. Имя ему – доброта. Чувство это мудрее ума, красивее красоты, сильнее зла. И счастлив тот, кого судьба наградила этим качеством.

Милая моя мама... Чем дольше живу на свете, тем чаще обращаюсь памятью к тем годам, когда мы были вместе, когда – наперекор всем лишениям – со мной была твоя нежность, всё

равно что материнская ласка – без этого душа моя высохла бы, как дерево в пустыне. И как же горько, как больно вспомнить о нечаянной жестокости – незаслуженной обиде, причиненной тебе неразумным детством...

Дела повернулись так, что одно письмо мамы Тани, посланное еще до ее отправки на фронт, после долгого путешествия по медленным дорогам войны нашло моего отца, и он предпринял всё возможное, чтобы вернуть меня из Детского дома.

Мы привыкли к тому, что поражающие воображение случайности происходят только в романах. Но реальная жизнь оказывается иногда не менее захватывающей и устраивает такие удивительные совпадения, в которые, не коснись они нас самих, мы бы не поверили.

В октябре сорок третьего года моя родная мать, чудом оставшаяся в живых, получила отпуск и отправилась на розыски. Тем временем, совершенно независимо от нее, в Чимкент добиралась с той же целью наша дальняя родственница, посланная отцом. И обе они ехали в одном поезде и не знали об этом. Но прежде чем попасть в этот поезд, матери довелось пережить разгром и окружение под Вязьмой, удушье и беспомощность от пожара, госпиталь, после него – направление на переформирование в Москву, где во время пересадки с одной станции метро на другую нос к носу она столкнулась с братом моего отца, майором авиации, проездом оказавшимся в Москве. Он-то и помог ей добиться разрешения на поездку за сыном. Настоящий парад случайностей...

И вот пришла с мамой Таней незнакомая мне красивая женщина в новенькой военной форме с накрест идущими через грудь, скрипящими ремнями, с кобурой на боку, и сказала, что она *настоящая* моя мама. Пораженный, я оглянулся на маму Таню, и тогда она, с трудом выговаривая слова, объяснила: да, правильно, эта тетя как раз моя мама, а сама же она – совсем не мама, мы просто жили вместе и я всего лишь звал ее мамой – вот и всё... И тут они вдруг, глядя на меня, обе заплакали, а я удивился еще больше. Вот же, недавно у меня не было ни одной, а теперь, получается, есть даже две – это ж хорошо, что же тут плакать? Пускай будут у меня обе мамы – я согласен. Военная мама очень мне понравилась – я не слезал с ее колен, не подозревая о том, *что* теперь переживала мама Таня, – да так и уснул...

Ночью я проснулся в чужой кровати, обнаружил, что я не дома, что ни одной из мам рядом нет, и поднял отчаянный рев на весь дом. Я страшно испугался, что мне нарочно всего наговорили (не зря плакали – они прошались!), а сами уехали на войну, и теперь меня опять отвезут в детдом и снова не будет у меня никакой мамы. Найдя входную дверь, я хотел открыть ее, но она была заперта, и я колотил в нее и рвался на улицу, а прибежавшая женщина, у которой мы все сидели в тот вечер, не пускала меня и говорила, что мамы пошли к себе, потому что здесь всем спать негде, и что утром я их увижу. Но я не слушал ничего, я боялся, что опять останусь один с чужими людьми, и рвался на улицу и так орал и колотил в дверь руками, что хозяйка не выдержала и, с трудом натянув на меня свитер, отворила дверь. И я окунулся в черную, непроглядную ночь и пошел улицей, ничего не видя перед собой и всё так же плача и зовя маму – теперь я звал одну, любимую, прежнюю, больше никого мне не нужно было.

И по сей день я отчетливо помню и гладкую, тяжелую дверь, и железный крик, до которого мне было не дотянуться, и прыгающий свет коптилки, и свои руки – их никак та женщина не могла оторвать от двери, чтобы сунуть в рукава свитера... Но теперь меня охватывает стыд за напрасный страх и учиненный переполох. И за обиду, в тот вечер нанесенную мной маме Тане.

Как всякий мальчишка, я польстился на военную форму: наверно на сияние красивых новеньких погон – в тот момент я не думал ни о чем другом и, разумеется, не имел никакого понятия о том, что эта женщина носила когда-то меня под сердцем.

Конечно, мама Таня тут же простила меня, как прощают все матери своим детям. Но она знала: быть вместе теперь нам оставалось недолго. И плакала от предстоящего неизбежного

расставания со мной. К печали примешивалась и радость: она радовалась тому, что все мытарства позади и у нее не будет больше болеть душа от неизвестности, от постоянной тревоги за ребенка, на которого она не имеет никаких прав.

У родной матери были другие слезы – в них соединились и радость встречи с отысканным её ребёнком, и горечь памяти о тех днях июня сорок первого, когда жизнь казалась еще такой ясной и простой, а начавшаяся война – короткой и победной. А у жизни были свои законы: война растянулась на долгие, страшные, кровавые годы, когда пришлось испытать кошмар окружения, голод и всюду видеть кровь, кровь... набухшие от крови бинты и гной, и запах гниющего человеческого тела, и страдания, которым не виделось конца, и смерть за смертью, много смертей, привыкать к которым тяжело, но необходимо, иначе можно сойти с ума. Она плакала, вспоминая всё это с удивлением – как же сама она после всего этого осталась жива и невредима? И дожидаясь встречи с сыном, так выросшим без нее и превратившимся из толстого, неуклюжего карапуза в худого, юркого мальчонку.

Мать вспоминала.

«Обратно ехать было очень трудно, особенно трудно было с билетами – ведь нас ехало четверо: кроме меня, Тани, Сережи, с нами была еще Мария Федоровна – женщина, которую прислал отец. Поразительно! Как оказалось, до Чимкента я ехала в одном поезде с ней, и мы не знали друг друга, а встретились уже в Кара-Булаке на второй день моего приезда. Ну вот. Ехали мы по-всякому, даже в тамбурах вагонов пришлось провести многие часы, а когда добрались, наконец, до дому – привезли с собой кошмарное количество вшей. Сережа весь исчезался, стала снимать с него свитер и в ужас пришла: он буквально кишел насекомыми. Всю одежду с него пришлось бросить в печь – так она горела с таким треском и фейерверком, точно была напичкана порохом. Устроила я тут всем настоящий санпропускник – как в армии, пробыла с ними всего три дня и снова отправилась в часть».

Судя по всему, мои родители, пережив испытания последних лет, решили восстановить распавшуюся семью.

Поселок, куда мы приехали был расположен на месте старой помещичьей усадьбы, которой до революции владел известный не только в наших краях коннозаводчик – граф Орлов. Теперь здесь был зерносовхоз, директором его был мой отец и, кроме того, в его ведении был еще старинный конный завод – армии поставлялись зерно и первоклассные лошади. В прошлом году, когда немцы еще стояли в Воронеже, была опасность приближения фронта. На этот случай у отца были инструкции по сворачиванию хозяйства и созданию своими силами партизанского отряда.

Но немцы сюда не дошли и война не тронула этих мест.

Для меня словно мир широко открылся, запахнул: из тесноты зажатого песками аула я попал в обширную усадьбу с огромным старым парком, садом, прудами... Я заново открывал для себя мир, в котором так непривычно много было редкого, по моим понятиям, вещества – воды. И не только в прудах, казавшихся мне огромными. Я обнаружил, что по небу облака ходят и существует такая удивительная вещь – дождь, щедро проливающийся на землю, которая пьет его вдоволь; я даже, к удивлению своему, узнал, что вода, упавшая с неба, может собираться прямо на земле, образуя лужи.

Мной овладело сильное чувство – у меня есть отец. Я здорово поддался его обаянию. Видеться с ним удавалось нечасто – целыми днями он пропадал на работе. И редкие встречи превращались в праздник.

Еще грохотала война, на которую снова отбыла моя родная мать, а я – таково, увы, свойство детства – я был, кажется, почти счастлив, потому что мама Таня пока еще оставалась со мной.

Была еще одна причина для радости. В эвакуации по-русски я разговаривал только с мамой Таней, теперь же, возвратясь, я слышал повсюду – и в доме, и на улице – русскую речь и с удовольствием вслушивался в нее, наверно так истомленный жаждой путник приникает к роднику. Тогда я, конечно, не знал, отчего это со мной происходит, теперь понимаю: родная речь стала для меня неким паролем, сигналом, возвестившим о возвращении, казалось бы, утраченной атмосферы моего детства.

Меня начали приобщать к чтению.

Одно из первых слов, по которому я учился читать, было на обложке книги, и слово это было – Пушкин. Мне уже читали вслух его стихи, некоторые из них я знал наизусть. О самом Пушкине я не думал как о человеке, слагавшем стихотворения. Самый звук этого имени заключал в себе неясное для меня явление, какую-то стихию, захватывающую и соединявшую в себе всё: и завораживающую музыку, и замечательные картины окружающего мира... И всё это звучало и двигалось, а слова как будто уходили в тень, я как-то их не ощущал. Это похоже было на чудо. И казалось, что оно явилось само, что оно рождено не человеком – нет! Рождено той самой жизнью, которой теперь я жил: той же осенью, когда раскинутое на все стороны пасмурное небо дышит холодом, или тою же зимой с ее вьюгами, снежными вихрями и чудесными днями, когда, под сияющим солнцем, со сверкающими снегами, во время катания на санках займется палец на морозе, а тебе и больно, и смешно... В этом мире под небом Пушкин был вокруг и во мне самом. И эти, насыщенные музыкой родной речи, картины были моими.

Запомнилось празднование Нового 1944-го года.

Приближение праздника несло с собой надежды на скорую победу, взрослые каждый день обсуждали дела на фронте. Я подходил к висевшей на двери картинке с фокусом: на ней был изображен гладкий, напыжившийся урод с косой челкой и грязным пятном под носом. Я знал, что это – Гитлер, и с удовольствием проделывал придуманную автором рисунка операцию: встав на цыпочки и дотянувшись до шнурка на резинке, я тянул его вниз и... Поскольку картинка специально была сложена гармошкой, она растягивалась и чванливый фюрер во мгновение ока превращался в жалкого оборванца с гусиной шеей, дрожащего перед штыком красноармейца.

И я, и мой новый дружок-ровесник Сашок Усков, и другие ребята из соседних домов – все мы тоже торопили победу; играя в войну, мы бесстрашно бились с фашистами. У меня был автомат – ничего, что деревянный, зато точно такой, как ППШ: с круглым диском и строчил как надо – нужно было только крутить рукоятку. Когда мы падали в снег и ползли вперед, как в настоящем бою, передо мной маячила за кустом тень фюрера и я стрелял в нее, и вскакивал, и бросался вперед...

Это была первая моя зима и первый новогодний праздник, которые я хорошо помню.

Игрушек ёлочных почти не было, но нашлись кое-какие открытки, бумага, кусок картона. Пришлось обходиться и без клея. Я увлеченно вырезал разноцветные флажки и, сгибая пополам каждую полоску и пряча в стиг нитку, склеивал половинки мылом – получались веселые гирлянды...

В жизни моей уже не один десяток новогодних праздников остался в прошлом, похожие подробности многих из них не задержались в памяти. Но как мало надо, чтобы возвратилось ощущение того – самого первого... Недавно, обнаружив в старом ящике сохранившуюся связку тех флажков, вдохнув знакомый запах тогдашнего – *военного* – мыла, я живо припом-

нил конец сорок третьего года, когда у нас в гостиной объявилось разлапистое зеленое чудо – то была пушистая сосенка с сильно пахнущими смолой клейкими пупырешками на ветках. На этой принаряженной новогодней «ёлке» красовались мои флажки да несколько игрушек, оставшихся с довоенных лет, а под ней, в мягкой шубе из ваты, покрытой блестками, тоже довоенный – Дед Мороз... Но что это за елка была!

Сколько бы ни было с тех пор праздников и самых настоящих елок – никогда больше я не вдыхал такого сильного хвойно-смолистого аромата. И никогда больше елка не казалась мне столь красивой.

В последний вечер сорок третьего года спать я конечно не мог и сидел за столом вместе с мамой Таней и Марией Федоровной. Отца с нами не было. Может, и в эту ночь его не оставляла работа, а может – и нет. У него была своя сложная, неведомая мне, жизнь.

Я почти не слышал разговора женщин, смотрел на елку и думал о том, как всё же хорошо жить здесь, где зимой много снега и растут ёлки, и как жаль, что далеко-далеко, в ауле, теперь скучно и, наверно, свистит ветер, гонит песок... Абдунаби, дедушка, бабушка сидят на ковре при свете коптилки и у них совсем нет ёлки...

– Мама, – сказал я, – давай позовем к нам дедушку и бабушку, и Абдунаби, пускай приезжают...

Мама Таня засмеялась.

– Что ты, Сереженька... Ты вспомни, как мы ехали. Это же очень далеко, и потом – нельзя, идет война.

«Да, правильно, – подумал я, – нельзя. Война. Как это я о ней забыл?»

Подперев кулаком щеку, мама Таня печально смотрела, как Мария Федоровна собирает со стола карты.

– Тетя Маша, а бывает, что карты врут?

– Бывает, что и врут, Танюша, – охотно согласилась Мария Федоровна. – А мы вон чего... мы сейчас по-другому...

Запалив свечу, она погасила керосиновую лампу, потом скомкала лист газеты, положила на чистое блюдо, поднесла его к стене и подохла – на стене заплясали тени. Женщины притихли. Я заметил, как мама Таня потихоньку смахнула непрошенную слезу, и мне тоже стало грустно. Не было никаких вестей ни от матери, ни от Володи, с которым я перед войной катался на трамвае, – из ремесленного училища он удрал на фронт, да так и пропал.

Что же можно было увидеть в узорах оранжевого и розового тления бумаги, в отсветах и тенях на стене? Мария Федоровна шептала что-то, но нельзя было разобрать что. Не мог я знать тогда, что, быть может, тысячи женщин по всей России так же вот гадали в эту ночь, затаив дыхание и следя за пламенем в надежде хоть как-то заглушить тревогу о близких, воюющих с врагом.

Подарили мне замечательную книжку, которая сразу сделалась моим верным другом и собеседником, я мог подолгу сидеть и рассматривать картинки... Огромная луна в морозном круге высоко повисла над бескрайней, заснеженной степью, по которой, теряясь вдали, вьется, убегает санный путь, а по нему – уже далеко – одиноко трусит лошадка, запряженная в сани... И рисунок этот как будто был каким-то чудом переведен в слова, перелит в стихок, напечатанный тут же, в уголке. Его я знал наизусть, и всё вместе было очень близко мне: я и сам недавно леживал в санях и видел и «свет небес высоких», и мерцающую под ними белую пустыню – и ощущал во всей этой огромности наш «одинокый бег»...

*Чудная картина,  
Как ты мне родна!  
Белая равнина,  
Полная луна*

*Свет небес высоких  
И блестящий снег,  
И саней далеких  
Одинокий бег.*

Это было удивительно, ведь всего-то: короткие – в два-три слова – восемь строчек! Но я чувствовал их сильную власть над собой – и она была такой же, как власть луны, равнины, дороги...

На следующей странице начиналась сказка «Два брата». Первые же строки завораживали, после них нельзя было остановиться, не читать дальше.

«Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но все-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети».

И в первый раз, когда мне читали, и потом, когда я уже научился читать, – я переставал дышать в том месте, когда Старший выгонял Младшего – недетого! – из дому, из тепла и света в темную, морозную ночь. Мне чудилось, что я слышу, как Младший стучит кулаками в дверь со двора. Больно мне было за Старшего, который, решив прочесть всего пять строчек «Приключений Синдбада-морехода», – зачитался и позабыл о Младшем, оставшемся на морозе. И в меня проникал тот ужас, с которым он кинулся во двор...

«Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо было вокруг... Брат пропал бесследно. Свежий снег запорошил землю, но и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица Рок».

Сердце мое сильно стучало, до слёз было жаль обоих: и бедного Младшего, и несчастного Старшего с его опоздавшим раскаянием: «Ах, если б всё передвинулось на два часа назад!».

Но нельзя повернуть назад, весь ужас был в том, что ничто не возвращается – и это изводило душу своей безысходностью...

Магическая сила заключалась еще в одном коротком стихотворении – его я тоже знал наизусть:

*Ты каждый раз,  
Ложась в постель,  
Смотри во тьму окна  
И помни, что метет метель  
И что идет война.*

Я был уверен, что эти строчки обращены прямо ко мне. Я не мог забыть о том, что война продолжается и что там, на войне, моя родная мать. Перед тем как лечь спать, я невольно поворачивал голову к окну и сквозь морозные узоры на стекле вглядывался в проступающую черноту зимней ночи, слушал визг вьюги и представлял себе занесенную снегом степь, жуткую, ледяную ночь и лежащих на снегу бойцов (такой рисунок я видел в книге). Это видение вызывало в памяти слова и мелодию песни, которую пела у моей кровати мать перед отъездом (позже песня так и останется для меня вроде колыбельной).

«Тёмная ночь – только пули свистят по степи».

Среди бойцов, лежащих на снегу под пулями, я видел свою мать и ее брата Володю. Если бы я умел и мог, я бы молился за них, как это делает Мария Федоровна, но не было никакой уверенности, что где-то услышатся мои молитвы.

Потом в жизни моей книг всяких будет много, но эта – как первая любовь – оставит в душе неизгладимый след.

Ушла зима и грянула весна – весна средней полосы России – настоящая, которую, естественно, я толком не помнил и теперь словно наблюдал впервые. И с первым теплом, с первой нежной, зеленой травкой и с каждым новым днем всё более раздвигались границы наших мальчишеских странствий по окрестностям.

Ранней весной, когда уже сошел снег, но холодная почва еще насыщена влагой, мы носились повсюду, беспечно мяли землю голыми пятками. В черноземе быстро протаптывались гладкие тропки и земля уже мягко пружинила под ногами. Отец, крестьянский сын, не только не препятствовал моей беготне с местными ребятами, но поощрял эти постоянные порывы унести куда-нибудь с очередной ватагой.

А уж праздники взрослых никак не могли обойтись без нашего участия. Тем более такой замечательный праздник, на который собирались все жители поселка – уж это я видел впервые в жизни.

Внутри парка, в саду, на большой поляне – на первой нежно-зеленой травке принаряженные мужики и бабы, парни и девушки яркими кучками пестреют в разных местах. Подойдя поближе к одной кучке я увидел: луб – длинный, снятый с тонкого дерева и похожий на желоб, кусок коры – поставлен с наклоном к земле, верхним концом на рогулину, воткнутую в землю. На вытоптаный в траве пяточок у нижнего конца луба скатываются пущенные кем-нибудь сверху разноцветные, а то и красочно разрисованные яйца. Все стоящие вокруг с увлечением наблюдают за катанием яиц, обсуждая подробности. Девушки и женщины по случаю пасхи одеты в нарядные ситцевые платья, а кое-кто из парней красуется в хранимых со старых времен отцовских кумачовых, голубых, белых косоворотках.

Эта пасха для всех была как-то радостна по-особому: казалось, в самом весеннем воздухе уже чувствовалось приближение желанной победы.

Помимо всего прочего, для меня, недавнего жителя пустыни, знакомство с новым распахнутым разнообразным зеленым миром было ошеломляющим.

Огромный парк начинался недалеко от нашего дома. Вдоль левого его края стоял длинный ряд могучих тополей – за стволом любого из них могла спрятаться, например, куча ребятни. Тропа под тополями то здесь, то там, словно гигантскими узловатыми пальцами, была схвачена-пересечена толстыми змееподобными корнями. Запрокинешь голову – высоко, под самым небом, едва разглядишь верхушки деревьев, будто не облака плывут мимо, а они, эти вершины, парят в небе. Глянешь на заскорузлую, всю в морщинах да глубоких бороздах, толстенную кору – и покажется, что старцы стояли на этой земле всегда.

«Деревья разговаривать не умеют». Ах, как жаль, что так устроено в мире!

Когда я в первый раз шел под этими тополями, я чувствовал себя таким махоньким и потерянным – и ощущение это не забылось и всплыло в памяти позже при чтении книг. Как хорошо я понимал страдания Маленького Мука, блуждавшего в дремучем лесу! Воображение мое рисовало наши тополя, непроходимые заросли терновника и ежевики – всё это сопровождало моих героев.

Спереди, по всему фронту парка, до самого пруда тянулся ров, над которым был вал, обсаженный вишнями – в разгар лета это был предмет нашего постоянного внимания. Удержаться от набегов нам, ребятне, было никак невозможно. Крадучись, перебраться через ров нам ничего не стоило, и вот они, уже под рукой... шершавые, с шишками янтарного клея, толстые стволы в густых кронах, будто густо обрызганных темными пятнышками – этими теплыми, брызжущими соком, вишнями... Но этого было мало: за вишенником прятался фруктовый сад и тоже магнитом тянул нас, мелюзгу, к себе. Слухи, согласно которым старик-сторож стрелял в нарушителей солью, нас не останавливали.

Без сомнения, это был своего рода спорт. Набеги наши начинались уже при появлении зеленых, еще кислых на вкус, яблочек. Ах, как сладко было прятаться в зарослях неподалеку от какой-нибудь яблони, а потом что есть духу уносить ноги от сторожа, кубарем катиться в канаву и, выскочив из нее, нестись к спасительным сараям!

Не помню, как относился к подобным проделкам мой отец. Вряд ли для него это было тайной. Сторож гонял нас, как надоедливых птиц, но не было случая, чтобы кто-нибудь из нас пострадал.

Начавшийся сорок пятый год для нашей семьи был богат событиями. Пришло письмо от Володи – он заканчивал войну в Австрии. В письме была фотография с надписью: «Смотрите, вспоминайте и никогда не забывайте», а на снимке – курносый солдатик, гвардии рядовой, с худенькой грудью, украшенной медалями (лишь гораздо позже, став взрослым, я до конца осознал, что солдатiku этому, всю войну пропахавшему на передовой, в полковой разведке – с ее постоянными, неизменно опасными, ночными вылазками за линию фронта, в тыл врага, – на тот момент было двадцать один год!). Эта замечательная вестъ совпала с возвращением домой матери – теперь уже насовсем. И эти два счастливых события были омрачены расставанием с мамой Таней – выйдя замуж, она уехала к мужу.

И, наконец, пришла вестъ о победе.

Я глядел на взрослых, танцующих в парке под патефон, поставленный на траву – среди них были и отец с матерью – видел, как все до слез радуются долгожданному окончанию войны, и я тоже старался принять участие в празднике. Всеобщая радость заражала, хотелось сделать что-нибудь хорошее, добавить и свою долю во всеобщее веселье. Я переходил от одной группы к другой – где плясали, смеясь и плача, где пели – и тут услышал, как кто-то спел «яблочко». Но здесь было пропето не так, как я слышал прошлым летом у деда, когда песенку пел Семен. Вернувшись к патефону, я дождался момента, когда отец подошел, чтоб перевернуть пластинку и, желая повеселить публику, отбил дробь ногами:

*Эх яблочко куда ты котисся попадешь милой в рот  
– не воротисся... Эх яблочко да на тарелочке  
надоела мне жена – пойду к девочке.*

Однако реакция слушателей была полной для меня неожиданностью: все, кто тут был, как-то притихли, а мать на меня рассердилась – в первый раз я видел ее сдвинутые к переносью брови и сверкающие гневом глаза. Я опешил и ничего не понимал. Лишь видно было, что я кого-то чем-то задел, и я смутно чувствовал, что виноваты слова песенки... Но что в них такого? Допустим, надоел мне Сашок Усков – я раздружился с ним, а больше стал играть со Славкой или с Петькой... А может, я просто плохо спел?

Отец разрядил атмосферу какой-то шуткой – все засмеялись и тут же забыли о досадном происшествии. Радость победы затмила всё.

Да и я тоже скоро позабыл о нем. Вместе с общей на всех, большой и светлой, радостью была у меня маленькая, своя: мне исполнилось семь лет и в этом году я пойду в школу. Ждать осталось недолго.

## Смотр-парад

Белó в городе было от снега: от сумеречного света его казалось, что, спутав время года, опустилась с неба, легла на улицы белая ночь.

Но стоял декабрь. И черное небо висело над самыми крышами огромной маскировочной сетью, накрывшей город. Колючий Балтийский ветер разгуливал по улицам и переулкам Васильевского острова, заворачивал в подворотни, залетал в глухие, мертвые каменные дворики. Немного встречал он людей на своем пути, но уже не был им так страшен, как в первую блокадную зиму: кончался сорок третий год, и в людях, оставшихся в городе после всех смертей и эвакуаций, теплились новые надежды на освобождение.

По Гаванской мимо темных безжизненных домов легким колеблющимся строем, стараясь бодрей отбивать шаг, шли юнги – целая рота.

*Эх Ладога! Родная Ладога...*

Ломкие голоса подростков складывались в нестройный хор, но это было неважно. При виде редкого прохожего они нажимали на все педали.

Одеты: кто в бушлаты, кто в шинели не по росту, мешковато – нельзя сказать сидевшие – скорее висевшие на их костлявых фигурах, в ботинках не по ноге (что делать? с обмундировкой в нужный размер было туговато) – они двигались пустынной, будто вымершей улицей.

Сейчас их никто не видел. А днем смешны и жалостны на вид показались бы юнги глазу повстречавшегося военного человека: шапки едва на ушах держатся, тонкие шеи торчат из несоразмерных воротников...

Но он был бы неправ, тот прохожий – сами юнги ничуть не унывали, их молодые сердца были устремлены в будущее, сулившее им всё, о чем они мечтали, подсчитывая дни до окончания своей школы юнг. Впереди были морские сражения с ненавистным врагом, подвиги во славу Отечества. Что касается вида юных моряков, тут причин для расстройств и вовсе не было: новенькая парадная форма уже ждала своего часа. В тумбочках, называемых по-корабельному рундуками – сложенные аккуратными стопками – уже лежали новые тельняшки, форменки, матросские воротники, а брюки, с тщательно расправленными штанинами, «отглаживались» под матрасами... Вся рота жила завтрашним днем: будет баня, потом построение, смотр, который будет принимать сам шеф школы – потомственный моряк, капитан первого ранга Бутаков.

*Недаром Ладога родная  
Дорогой жизни – названа!*

У Илюши Алехина, как и у каждого из пацанов, одетых в морскую форму, была своя дорога жизни, которая привела его в школу. И дорога эта была похожа на десятки других: отец Алехина воевал, и уж больше года от него не было никаких вестей – наверно, погиб; мать умерла – он остался один. И настал такой день, когда пошатываясь и дрожа всем телом – его бил нутрянной голодный озноб – он брел по улицам, не понимая, куда идет и зачем. Он знал одно: он дошел в жизни своей до последней точки, когда остается как-нибудь умереть. Он думал тогда: если случится артобстрел, он не станет бежать и прятаться – пускай убивают – ему всё равно. Глубоко в душе таилась глухая обида на взрослых. Сами не могут отогнать от города фашистов, а таких как он, которые могли бы воевать, не берут в армию. А он, между прочим, ходил в школьный стрелковый кружок и был чемпионом школы, в десятку попасть ему ничего не стóит. И он мог бы отомстить и за отца, и за мать, и за город... Так думал он

тогда и, повернув за угол, столкнулся с каким-то мужчиной. И не сразу понял, что говорит ему этот широкоплечий человек в черной морской шинели...

*Эх Ладога! Родная Ладога...*

Юнги пели песню уже не в первый раз, хотя прохожих не попадалось и мертвые дома хранили к пению полное равнодушие. То была любимая песня мальчишек, готовящихся стать воинами, – песня, связавшая их с оставшейся за кольцом блокады Большой Землей, с мирным прошлым, которое сейчас казалось таким далеким.

Теперь юнги жили буднями осажденного города – кончался обыкновенный, один из многих, блокадный день. С утра они работали на разборке развалин дома, в который попал снаряд. Специальные команды, составленные из взрослых, откапывали завалы, уносили убитых и раненых, а юнги растаскивали обломки, расчищали улицу от битого кирпича.

Работая вместе со всеми, возле пролома в стене Илюша увидел торчавшее из-под груды кирпича лицо мертвого человека – оно было почти таким же белым, как снег, слегка припорошивший шапку с завязанными на подбородке тесемками. Глядя на это мертвое лицо, Илюша невольно вспомнил то страшное пятно на обоях и другое лицо – лицо Шурки Неглинского, прибывшего к ним в школу из-под Луги, из партизанского отряда. В свои шестнадцать лет он был для других пацанов героем: там, на оккупированной территории, он ходил к немцам в разведку, участвовал и в боях. Шурка гордо носил на форменке новенький, сиявший алым, орден «Боевого Красного Знамени», иногда даже разрешал потрогать его. А когда Неглинский заявил, что награжден еще именованным пистолетом, Илюша не поверил, а Лешка Опенкин – при любом разговоре вертлявая его голова оказывалась тут как тут – стал ходить по пятам за Шуркой и канючить – покажь да покажь. У Лешки так горели глаза, точно он умрет, если не увидит пистолета.

И однажды Неглинский – в увольнение он ходил к своей тетке – позвал Илюшу и Лешку с собой.

Тогда, в ту ужасную минуту (дело было в теткиной комнате), Шурка как раз повернулся к ним от фотографии, висящей на стене, там он был снят с отцом – снимок был довоенный. Илюша ждал своей очереди, а Лешка, разглядывая, вертел в руках пистолет из вороненой стали – как вдруг оглушающе грохнул выстрел, подпрыгнула Лешкина рука и, будто ужаленный, мотнул головой стоявший у стены Шурка. Случилось всё в один короткий миг – Илюша видел: и Лешкина рука, державшая пистолет, и голова Шурки дернулись вместе, точно связанные какой-то невидимой нитью, – и он всем телом рухнул на пол. И там, где стоял Неглинский, на стене как большая чернильная клякса расплывалось темнокрасное, почти черное, пятно.

На оглохшего до звона в ушах Илюшу нашло оцепенение. Ему показалось, что он вроде заснул на минутку и увидел такой страшный сон, но сейчас же проснется, и тогда всё станет на место: матюгнет Шурка недотепу Опенкина, потом даст Илюше подержать пистолет...

Пуля, оказавшаяся в стволе (наверно, Шурка раньше баловался с оружием и забыл зарядить его), попала несчастному прямо в лоб – на похоронах Илюша не мог смотреть на его белое как мел лицо.

Потом уж, когда похоронили Неглинского, Илюше уже по правде несколько раз снился этот жуткий сон. Но тут было и другое: он будто бы знал, *что* должно случиться. И ему хотелось крикнуть, кинуться к Лешке, вырвать у него пистолет, но вместо этого он стоял в каком-то столбняке и не мог ни двинуться с места, ни закричать. Он мучился от этого бессилия и невозможности остановить беду, спасти Шурку – раздавался роковой выстрел... А однажды приснилось ему уж совсем жуткое: пистолет оказался в его руке и он проснулся от собственного крика. Лежал он тогда на своей койке и думал, глядя в темноту: вот люди умирали от голода, погибали от бомб и снарядов, тут понятно всё – на то и война. Но почему же Неглин-

ский, который воевал, прошел через такие опасности – ему ведь и немцев приходилось видеть глаза в глаза! – почему же он погиб так глупо?

Ответа не находилось, сколько Илюша о том ни думал. И его еще долго мучил этот трагический случай, пока нелегкая блокадная жизнь не покрыла туманной дымкой прозрачное стекло его памяти...

*Эх Ладога! Родная Ладога...*

Передние ряды вдруг замешкались, юнги сбили шаг, замолкли с открытыми ртами... Впереди, шмыгнув через дорогу, в ближайшую подворотню метнулась серая тень. Кошка! Каждый из увидевших ее теперь хорошо знал, что всех собак и кошек в городе либо съели, либо они сами сдохли с голоду. А тут... Первая после стольких дней блокады кошка! Живая! Выходит, где-то находила же она жратву!

Слегка поотставший ротный старшина заметил непорядок, услышал, как замирает, иставивает в задних рядах песня.

– Рота! Дер-р-жать строй! За-а-певай!

Колонна дрогнула, юнги подравнялись, выправили шаг. Илюша, тоже заметивший кошку, подумал: «Ага-а... Не взять нас немцу-то, скоро придут наши».

И вот настал этот день.

Полторы сотни пар молодых глаз, со всей тщательностью выверенных по ранжиру, все сразу, увидели, как в дверь стремительно вошел морской офицер в полной парадной форме. Перед юнгами явилось живое воплощение мечты каждого: черное как ночь сукно мундира, серебро и золото погон и нашивок, сияние кортика в ножнах. Капитан первого ранга был высок и строен, рыжая борода пламенела над белоснежной полоской воротничка. Он быстро окинул взглядом строй, весело поздоровался.

Юнги бодро грянули в ответ на едином выдохе.

Бутаков прошелся вдоль замершего строя: вскинутые подбородки, торчащие в стороны мальчишечьи уши, восторженно и преданно блестящие глаза... Кое у кого матросские воротники оказались подозрительно небесно-голубого цвета. Капитан первого ранга знал: по их понятиям совсем новые темносиние воротники носят салаги и – чтобы придать им вид *бывалый* – юнги травили их хлоркой.

Бутаков нагнул голову, пряча в бороде улыбку.

## *Мешок травы для кормилицы*

### 1

Огромный, слегка дымящийся багровым паром, шар медленно выкатывался из-за горизонта как раз в том месте, где меж стационарными постройками был ничем не заполненный просвет и небо и земля встречались, как им и положено. Прислонясь спиной к стенке сарая, Мишка следил, как, начавшись ярким лоскутом, светило оформлялось, зрело на глазах в горячий правильный, словно очерченный циркулем, круг.

Сегодня, когда мать, как обычно, разбудила его до света и сунула в руки кружку, спать хотелось так, что он даже не мог разлепить веки. «Пей, пей, сынок», – из далекого-далека проник в сознание голос матери; Мишка машинально выпил теплое вспененное молоко и повалялся на подушку. Но сон уже не был так тёмен и крепок, и тело Мишкино медленно пробуждалось по мере того, как наполнялся серым светом прямоугольник окна.

Теперь здесь, на воздухе, и будто бы вместе с отделившимся от земли солнцем с Мишки и вовсе слетели остатки сна.

Он вернулся в дом, умылся. Собираясь на работу и укладывая в небольшой вещмешок хлеб, картофелины «в мундире», пару луковиц, несколько вареных яиц, бутылку с молоком, сахар, соль – она уходила на станцию дежурить на целые сутки, – мать делала Мишке последние наставления.

– Да чего ты, мам! Вроде я не знаю...

Мишка смеясь проводил ее на крыльцо, и она, устыдясь своей докучливости, благодарно улыбнулась сыну и с легким сердцем вышла на улицу.

Оставшись один, Мишка вздохнул – теперь он хозяин в доме до следующего утра.

К своим обязанностям он привык с тех пор, когда мать привела на двор рыжую в черных пятнах телушку, и он сразу и крепко подружился с ней. Мишке нравилось самому кормить и поить ее, и она так привязалась к нему, что, бывало, бегала за ним, как собачонка, а однажды – он не мог без улыбки вспоминать об этом происшествии – она даже лизнула его в щеку. Бывший Мишкин любимец, кот Жмурик, до глубины души был оскорблен таким предательством и безглаголиво отворачивал голову, когда видел их вместе.

Когда телка подросла, Мишка на веревке выводил ее за околицу, на травку, и привязывал к вбитому в землю колышку – чтоб не сбежала. Оно и верно – телка была бедовая, как-то сорвалась да принялась носиться за домами, потом влетела во двор, оборвала веревку с бельем, запуталась в ней и явилась перед случайными зрителями в белой попоне и с чьим-то лифчиком на голове. Соседка, тетка Настасья, тогда такой крик подняла, будто конец света пришел, хотя белья-то у нее на той веревке почти не было. А одноногий муж ее, портной дядя Пантелей долго хохотал и обозвал телку Модисткой – так под смех и крики кличка к ней и прилепилась.

Теперь-то Модистка стала, можно сказать, солидной коровой, молоко давала вкусное и жирное, как сливки; бывают дни, когда Мишка с матерью едят хлеб да молоко, да творог, да сметану – им хватает.

В дни дежурств матери, если не считать утренней дойки, Модистка полностью на Мишкином попечении. Первое и каждодневное его дело – встречать ее на закате, и к этому времени у него всегда бывает припасен туго набитый мешок повилики, любимого ее лакомства. Возвращаясь с пастбища, Модистка каждый раз так торопится, что не может идти шагом по улице и припускает тяжелой трусцой, а добежав до Мишки, тычется влажной мордой в его ладони, захватывает подсоленную краюху хлеба шершавым, как наждак, языком. Мишка скребет паль-

цами за ее ухом – большим, похожим на толстый лопух, – и Модистка, жуя и сладко жмурясь, подворачивает к нему голову, чтоб чесать было удобней. От нее пахнет солнцем, молоком, пылью...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.